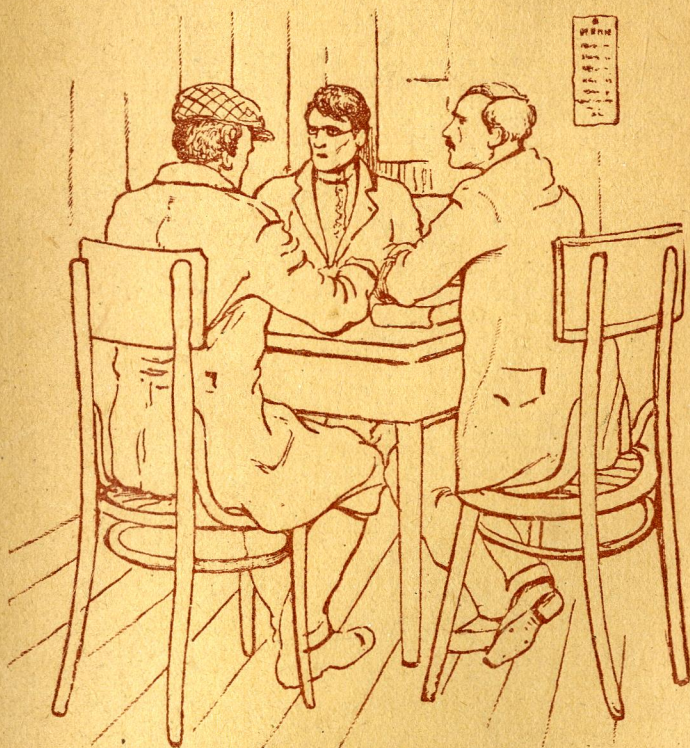


А. Любченко РАССКАЗ О БЕГСТВЕ



ГОСЛИТИЗДАТ
1934





06-10
АРКАДИИ ЛЮБЧЕНКО

РАССКАЗ О БЕГСТВЕ

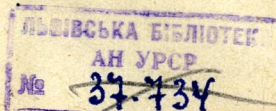
ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ПЕРЕВОД С УКРАИНСКОГО

Св. авт. св. Г. УССР - 1949
Бр. и 1м Г. УССР - 1974

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1934



И. К. П. литературы
КАБИНЕТ ЛИТЕРАТУРЫ
ИМ. А. В. ДУДКАРСКОГО
Инв. № 12450

Н



179221

П



РАССКАЗ О БЕГСТВЕ

На этот раз за маленьким столиком, в чистом, отделенном длинной перегородкой уголке, встретились Рубич, Красовский и я. Встреча, как и всегда, произошла случайно. У нас было слишком мало времени, чтобы мы могли наведываться сюда чаще, а если и забегали, то, выпив стакан чаю или бутылку пива, спешили прочь, озабоченные, невнимательные, обменявшись лаконическими фразами, мимолетными улыбками.

Был слякотный осенний вечер, к тому же воскресенье. Рубичу, редактору газеты, не нужно было спешить с передовицей, нам нечего было торопиться на улицу, в объѣзды пронизывающего ненастья,— и все трое охотно остались здесь.

На втором этаже в ресторане играл квартет. Звуки долетали мягко, и в этом уютном уголке Григ казался еще теплее, непосредственнее. Разговор почему-то зашел о Польше, а потом Красовский и я стали вспоминать о минувших фронтовых делах. Красовский вообще любил говорить о них, рассказывал довольно красочно и часто поощрял к этому других.

Только Рубич сидел неподвижно, сосредоточенно сдвинув брови. Таким он бывал всегда вне

стен редакции, и на длинный разговор, а особенно на воспоминания, его можно было соблазнить лишь изредка. Он умел слушать, умел располагать к себе — и только. Известно было, однако, что этот человек изрядно перекипел в котле недавних бурь.

— Будьте добры, бутылку, — сказал он, коснувшись своей кружки, когда Красовский закончил рассказ об очередном приключении. Его пальцы несколько раз суетливо потрогали дужку пенсне — неожиданный знак нетерпения. — А вот... вот представьте себе так...

Рубич на мгновение остановился. Мы насторожились, придвинулись ближе.

— Представьте себе, друзья, так: вдруг небо падает. Момент — перед глазами, как в калейдоскопе молниеносно проносится какое-то бурое полотно. Со всех сторон — сыплются удары. Больно ломает руку. Хлещет в лицо. Еще момент — и становится ясно, что вы на дне ущелья. Вдоль летят комья земли. Шуршат. Раздражают неуместным шумом. Засыпают глаза. Вы срываетесь дальше. Каждая секунда дорога. Дальше отсюда!

Мимо мелькают дома, какая-то фигура белым пятном шарахается в сторону. Узенькая речка вырывается из-под ног. Дальше, дальше! Уличка, крапива, дереза. Дальше!.. Трещит плетень, буйным шумом бежит вокруг высокая кукуруза.

Пак! — сухо, резко, но далеко. И где-то в другом конце балки протяжно, дразняще в ответ: Та-а-к!..

Это ведь подкрепляет, подталкивает — знаете? Вы напрягаете последние силы, но кукурузе, кажется, конца-краю нет. Да еще шелест, предатель-

ский шелест. И вы падаете, задыхаясь. Ползете еще немного, беря вправо, запутывая, пряча следы. Останавливаетесь. Сердце, как сумасшедшее. Голова в тисках. Куда? Что? Как? Нет! Вы конвульсивно загребаёте руками землю. Вас ужасает мысль, что от земли сейчас вас насильно оторвут. Исчезнуть бы, провалиться, растаять... Ибо что может быть хуже, как стоять с голыми руками перед вооруженным врагом? Вы припадаете ухом к земле, чутко прислушиваетесь. Сколько проходит времени — кто знает... Быть может, минута, может быть, десять, может быть, полчаса...

И вот потрескивает, шелестит кукуруза. Идут. Осторожно... Хищно... Крадучись. Что? Да, да, идут... Бежать? Но это бессмысленно. Куда?.. Вы инстинктивно дергаетесь, не сходя с места. В животе внезапно холодеет. Ледяная волна тяжело подступает к груди, заливая ее. Грудь тесно, очень тесно в обручах этих маленьких, жалких ребер. И становится дурно, становится так гадко, словно вас сейчас затошнит. Пальцы спазматически все глубже и глубже впиваются в землю. Но нет! Не может быть! Вы пересиливаете испуг, стискиваете зубы и напряженно вытягиваетесь, вы готовы ко всему. Один?.. Броситься неожиданно и выхватить винтовку. Лишь бы в руки винтовку! А если двое? Все равно, броситься! На это еще хватит сил. Так легче.

— Ссст...

И по всему телу словно мурашки. Из холода в жар. Из жара в холод.

— Ссст! — еще ближе.

Слыхали вы этокое предательское шипение? Оно до сих пор стоит у меня в ушах. Это — тонкая пытка. Это словно длинная раскаленная игла, причиняющая невероятную боль, пронизывающая

самые уязвимые места. Лучше крикнуть, лучше сразу броситься бить! Что хотите, только не...

— Ссст...

Подают знак. Их двое, а возможно и больше. Вот раздвинут стебли, вот...

— Ссст... Chodz tu! Antek... — окликает торопливо, вполголоса.

Где-то, ломая стебли, спешат.

— Antek, niema co, on uciekt.

— Uciekt, mówisz, psia mac! — падает в ответ громче, с досадой. — Uciekt? A może...

— Co może? Morzez głębokkie... chodźmy!

— Ale jak ze?..

— A niech go poizón tiasniel! fa sobie na tem płocie majtki porwleni chodźmy! No?..¹

Еще немного поспорили, поплевались. Наконец, о чем-то тихонько условившись, щелкнули замками карабинов. Ушли.

От сердца отлегло. Но положение мое было скверное. Теперь подымут на ноги всю власть, какая только есть в селе, весь «актив», от жан-дарма до последнего, самого незаметного сторонника Речи Посполитой. И эти-то наиболее незаметные скорее всего заметят — весьма старательные люди. Единственная надежда на матушкуночь. Надо будет переждать здесь до темноты и шагом марш. Куда? Чорт его знает! Я ведь потерял направление. Придется наобум. А там — как-нибудь соображу.

¹ — Антек, делать нечего, он удрал.

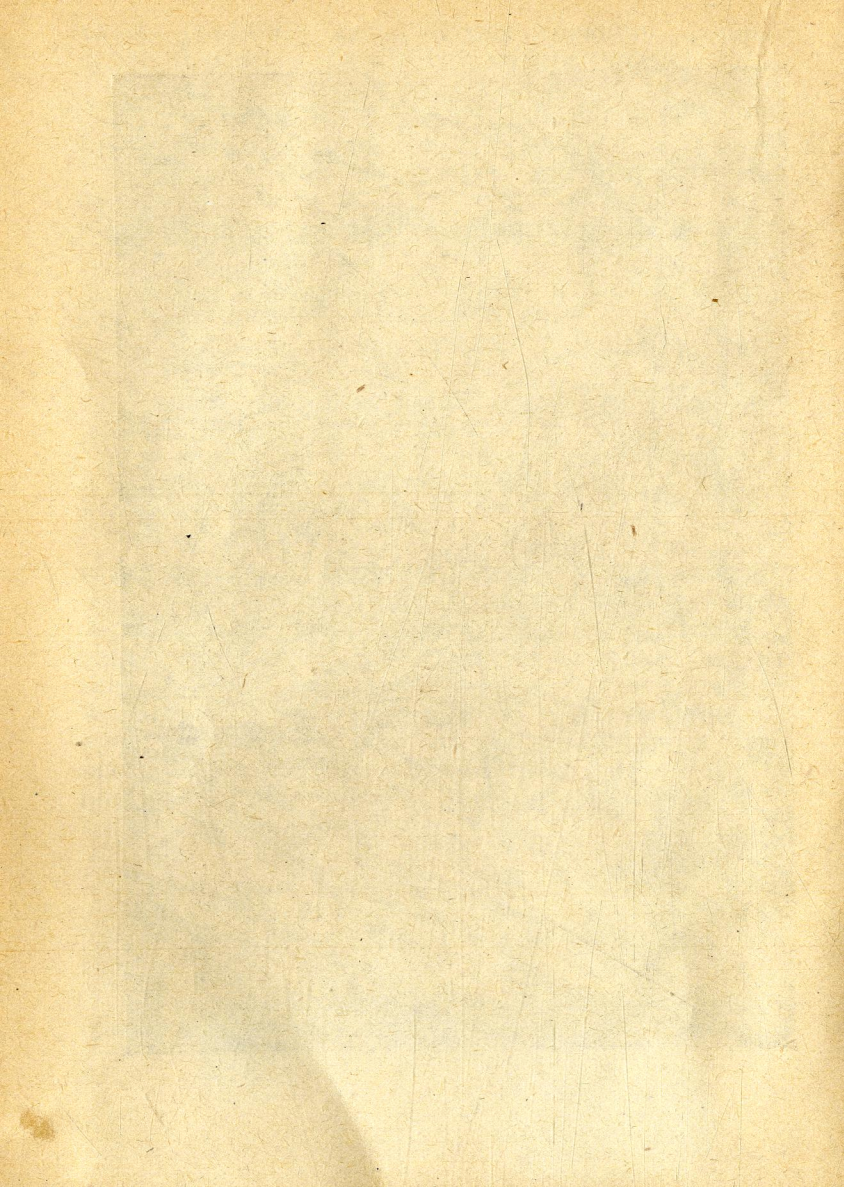
— Удрал, говоришь, собачья мать! Удрал? А может быть...

— Что может быть? (Непереводимая игра слов.) Море широкое и глубокое... Идем!

— Но как же?..

— А, да, пусть его гром разразит! Я вот на этом плетне брюки порвал себе. Идем! Ну?..





Лишь только я попробовал устроиться поудобнее, как все тело заныло. Теперь, успокоившись слегка, я заметил, что на моих руках из-под налипшей земли проступает кровь. Один ноготь совсем оторван. Я его забинтовал листьями кукурузы. Но самое худшее: шея будто чужая, в прорванном рукаве локоть сбит, а окоченевшие ноги словно свинцом налиты.

Боль все росла. Росло и ощущение усталости. Надвигалась угроза, что ночь пропадет напрасно, что никакие усилия не помогут мне воспользоваться темнотой. И понемногу мной овладевала реакция. Теперь я боялся лишь одного: если придут, если будут брать, будут мучить,—ни одна частица моего «я» не сможет протестовать... Будьте добры, налейте...

И я заснул. Спал очень крепко и долго. Да и как было мне не спать? Не забывайте, что я уже две недели блуждал. Я убежал из польского плена. Как? Об этом в другой раз. Мне было известно об успехах нашего большого наступления, и я торопился, ободренный надеждами. По ночам я шел, днем прятался по лесам да бурьянам. Прошлой ночью я переплыл Стрипу, а на рассвете встретил на глухой дороге подводу. Это был крестьянин из Подолии. Его забрали поляки в фуршпан¹ (добро с Украины вывозили), загнали под самый Бучач, и теперь он с удостоверением дефензивы возвращался домой. Он не был уверен, что какая-нибудь встречная часть не вернет его опять (и документы не помогут!), потому и держался в стороне, избегая проезжего тракта. Не легко было его остановить. Я ему машу, а

¹ Ф у р ш п а н — Мобилизация крестьянских лошадей и возчиков польскими войсками во время войны.

он, не обращая внимания, этак равнодушно: «Н-но! Пошел!» Я ему кричу, а он прикидывается глухим, дергает вожжами, помахивает кнутом на лошадку. У меня действительно мелькнула мысль: уж не слепой ли он, не глухой ли? Я забежал спереди. Мужик сказал: «тпру» и, не опуская вожжей, тревожно, умоляюще посмотрел на меня;

— Куда эта дорога, отец?

— Да, говорят, на Борщов...

Значит, я не ошибался, шел более или менее правильно.

— А хлеб, отец, есть?

— Нету.

— Ну так давайте.

— Да нету ж, говорю...

— Ну так давайте, говорю...

Он смерил меня взором с головы до ног. Вероятно, мой взгляд и выражение лица были достаточно внушительны. Мужик завозился, оглянулся подозрительно кругом и полез под опалку¹. Вынимая сумку с едой, он спросил:

— А что вы за человек?

— Да разве не видите?

(Кстати, на мне была старая польская шинель и такая же кепка. Я их нарочно приобрел перед побегом.)

— Да оно так... Только того...

— Что?

— Всякого народу теперь... того... хоть пруд пруди...

— Это правда, отец, правда,—охотно согласился я с ним, уплетая хлеб,—правда ваша...

— Да... уж... распустился народ. Никакой те-

¹ Опалка — мешок с овсом для лошадей.

бе власти, одни напасти. Мучат людей, да и все...

Мы закурили такого, знаете, хорошего, тертого табачку. Хотя были мы в укромном овражке, но долгая стоянка пахла опасностью.

Я воровато оглянулся, а мужик, воспользовавшись этим моментом, дернул вожжами.

— Н-но!..

И как раз в тот миг у меня блеснула мысль, злосчастная мысль, повлекшая за собой все эти события. Я удержал мужика.

— Отец, знаете что? Вы ведь туда же, куда и я. Давайте вместе. Устал я, а еще надо добрую сснию отмахать... А как доберемся, я уж вас не забуду...

Он, протестуя, решительно мотнул головой и погнал лошадей. Но я прыгнул в телегу.

— Отец, закройте меня сверху травой. Подвезите только к фронту, а там я и сам не полезу. Здесь пока нечего бояться, здесь войска мало. Вот так спрячьте, прикройте, и погоняйте себе. А когда доберемся... Вы же не знаете, кто я...

— Да кто бы ни был, не желаю...

— погоди, отец...

Чего я только ни говорил ему! Уговаривал, умолял, запугивал... Мужик упорно стоял на своем. Но победа была уже в том, что он тронулся с места. Минут через десять мы все-таки договорились. Мужик ругался, но запрятал меня на дно, прикрыл, словно ценный товар. Я лежал головой к передку, чтобы удобно было переброситься словом. Условились что он будет зорко следить и тихонько сообщать мне. Если возникнет серьезная опасность, я заблаговременно должен скрыться во ржи.

Несколько раз он поднимал тревогу, но я ему

не верил. Я знал, что он очень хочет от меня избавиться. Ясно: пока он только побаивался. Но достаточно будет нам подъехать к тракту, как мой возница запоет другое: просто прогонит незванного гостя или, спасая себя, предупредителью отдаст его в руки врагов.

Мимо нас проходили, проезжали, спрашивали, но каждый раз я знал, что ничего угрожающего не случится. Соблазняла меня мысль, что я отдохну и выиграю целый день. Целый день! Ведь это, по меньшей мере, верст тридцать — сорок.

Сердце однако начало сжиматься. Такая, знаете, тягучая, особенная боль. Недостает воздуха. Нет сил лежать. Не терпится. Нужно встать. Нужно оставить этого возницу. Обязательно. Вот еще немножко — и встану. Еще немножко — и колеблюсь. Едем-едем — как вдруг возница толк меня кнутовищем. Что?.. Военные! Много! Вынырнули, как из-под земли. Скорее бежать! Скорее!

Голос торопливый, срывающийся. Но почему-то еще колеблюсь, хотя в груди сразу неприятный холодок.

— Ну, слезай! Слышишь? Слезай, не то...

Уже не дослушал. Перышком метнулся с воза, и в тот же миг затарахтело, завизжало, закрипело где-то позади... Я увидел внизу село и кинулся к нему изо всех сил. А дальше вы уже сами знаете, как и почему я очутился в кукурузе, почему заснул и спал так крепко.

Случилось все это перед полуднем, а проснулся я под вечер. Меня разбудил дождь. Не дождь — просто ливень! Хотя он и быстро пронесся, но я успел промокнуть до костей. Превозмогая боль, я выжал, как мог, свое барахло и, согнувшись, перешел на более сухое место. Теперь я дер-

жался смелее, ибо какому, хотя бы самому отчаянному, легионеру или жандарму захотелось бы лезть в мокрую, высокую, густую кукурузу, да еще после неудачной разведки?

Сквозь верхушки я оглядел местность: направо, на склоне, прилепились хатки, налево, ближе, нахмурился крутой обрыв, с которого я совершил сегодня свой полет, а совсем близко, шагах в двадцати — двор. Я машинально присел. Я никак не ожидал, что, скрывая следы, мог ползком добраться до самой хаты. Мне казалось, что я на другом конце огорода. Ну что ж, так или иначе, а приходилось сидеть тихонько, ожидая ночи, — авось, она как-нибудь поможет, выучит.

В усадьбе начали хлопать дверьми, потом сзывали кур. Помню, детский голосок несколько раз торопливо-смешно выкрикивал:

— А-ги на вас!.. А-ги!..

Помню — солнце. Предвечерние лучи прорвались сквозь тучи и брызнули золотом. Никогда не видал такой красоты. А может быть, и видел, но проходил равнодушно. Тогда же все это воспринималось особенно остро и до сих пор до мелочей стоит перед глазами. Знаете, после дождя все обмытое, свежее, и повсюду солнце, течет и трепетными алмазами обвисает, каплет. Помню даже тонкий стебелек, торчавший прямо передо мной... какого-то смешного изумрудного жучка. Жучка прибило дождем; он отчаянно боролся, карабкался вверх. Я с радостью помог ему. И тогда меня поразила мысль: неужели поймают? Эта мысль показалась особенно страшной, невероятной. Еще сильнее захотелось жить, захотелось во что бы то ни стало завершить побег. Жить! Конечно, среди спокойных будней не

почувствуешь так тонко, не поймешь так глубоко это необыкновенное счастье — жить.

Да... Но мой восторженный порыв скоро погас. И виной тому — проклятый озноб. Он мучил меня все чаще и чаще. Руки посинели. Весь я скорчился. А вечер надвигался прохладой... Встать бы, похлопать руками — кровь сразу и заиграла бы. Но ведь я связан. Буквально связан. Даже нельзя потереть рук. Только дыши на них. Глупое положение!

И так, свернувшись клубком, шелкая зубами, проклиная встречу с подольским мужичком, сидел я, обеспокоенный: ночь, несмотря на все усилия, может пропасть напрасно. Как вдруг — шорох. Что такое? Шуршит и шуршит. Ближе и ближе. Остановится на минутку и опять, не торопясь, шелестит, опять приближается.

Не успел я собраться с мыслями, как густая заросль, словно занавес, раздвинулась, и передо мной предстала... женщина. Охапка травы выскользнула из ее рук. Она всплеснула ладонями, побледнела, что-то коротко прошептала и застыла на месте.

Мы долго молчали, оцепенев, устремив друг на друга испуганные глаза.

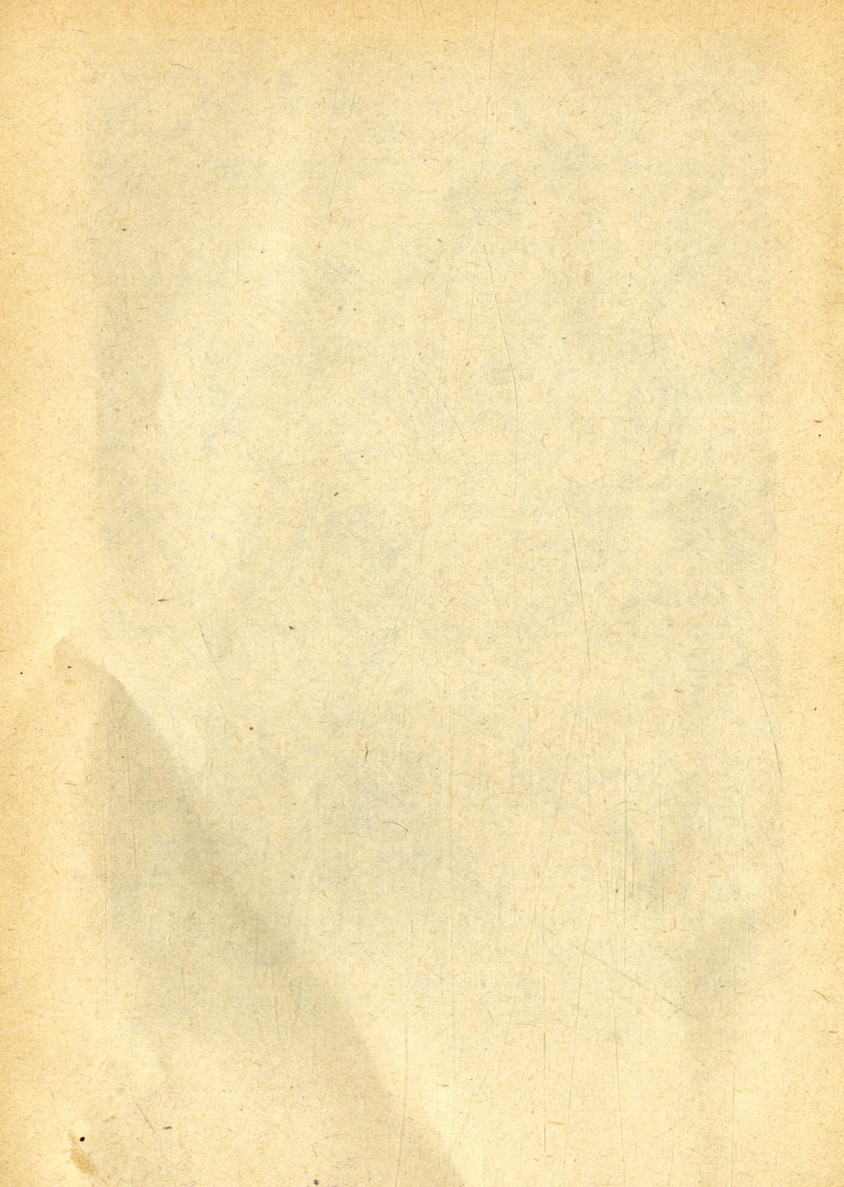
— Не бойтесь... — начал я шопотом, — не бойтесь... Я ничего... молчите... только нагнитесь, а то вас заметят. Нагнитесь...

Нагнулась, как в гипнозе.

— Я вас очень прошу, молчите. Никому не говорите обо мне. Никому! Слышите? А я вам зла не причиню. Я посижу до ночи и тихонько уйду. Слышите? Тихонько уйду себе, и никто ничего не будет знать.

Она не двигалась. Только ее длинные ресницы





мигали недоуменно, равномерно, словно у заводной куклы.

— А если вы скажете, меня убьют. Слышите? Меня убьют.

Женщина облегченно вздохнула.

— Иезус-Марія!.. Так это вы тот самый?..

— Тот самый.

Оглядела меня внимательнее. Испуг понемногу гаял на ее лице. Вместо него — удивление, любопытство и робкая теплота жалости. Она покачала головой.

— А тут,— говорит,— за вами гонялись, гонялись... И по соседям, и тут.

— Знаю, знаю... Хотят убить ни за что, ни про что,— подчеркнул я, чтобы сильнее подействовать на нее, вызвать в ней сочувствие.

Тогда взглянула пристально, решительно. В этих карих больших глазах в одно мгновение я прочитал и тревогу, и подозрение, и любопытство, и сомнение, и жалость — чисто звериный страх и чисто женскую сердечность. Откровенная борьба.

— Кто вы? — спрашивает наконец.

— Беглец.

— Но кто?

— А кого искали солдаты?

— Но не москаль?

— А разве вам не все равно?

— Да вы не москаль,— говорит,— вы и говорите по-руснацкому¹.

— Человек я... Не вор, не душегуб. Клянусь! А вот меня преследуют, хотят меня убить ни за что...

Опять покачала головой, и так тихо, мягко:

¹ По-руснацкому — по-украински.

² Любченко. Рассказы



Львівська державна
національна бібліотека
імені А. М. Горького
9798

— Бедный... — говорит.

В ее голосе мне почудилось что-то материнское, истонное, невыразимо нежное. «Бедный» — этого было достаточно.

Она поднялась, поспешно начала собирать рассыпанный бурьян.

Собирает и оправдывается:

— Пастух сегодня из-за дождя раньше пригнал корову. А я думаю: пойду, думаю, нарву бурьяну. И на тебе... Ну, сидите, не бойтесь...

И нырнула в заросли. Я заволновался. Смущало это «Иезус-Мария»... Кто же она? Положим, все униаты пользуются таким, как бы сказать, междометием, но и все поляки в галицийских селах знают украинский язык. Не разберешь. А разобрать необходимо. От этого, конечно, многое зависело. А что, если она в самом деле полька, и сейчас же поторопится выдать меня? Нет, надо бежать. Нужно пока что перебраться хоть на другой конец огорода. Скорее отсюда! Скорее!

Только я собрался, снова — шорох. Так и есть. Значит, я не ошибся. Значит, за мной. Поздно. Конец!

Раздвигаются стебли — и знаете кто? — та самая женщина с бурьяном в охапке. Я изумленно впился глазами. Чего ей еще нужно? А женщина:

— Я, — говорит, — припрятала, чтобы никто не подумал... — и таинственно вынимает кружку молока.

Конечно, я не заставил упрашивать себя. Но у меня уже началась мания преследования. Я сейчас же подумал: а что, если она в эту минуту продает меня за кварту молока? Что, если она тем временем послала в гмину¹ и только заговаривает, за-

¹ Гмина — волость.

держивает меня? Что?.. Ничего. Ничего не подёлаешь. Сиди и жди.

Сидел и ждал.

Она казалась довольно спокойной. Никакой двушмысленности. Никакого намека на провокацию. Даже какая-то солидарность, словно мы с ней — заговорщики. Неужели так ловко притворяется? Неужели продаст?.. Нет, не может быть. Нет...

Только теперь присмотрелся к ней. Русая. Будто средних лет. Почти правильные черты. Видно было, что ее преждевременно состарила изнурительная работа. Но удивительно сохранились ресницы, длинные-длинные, и в глазах еще много свежего, юного. И в то же время общую мягкость выражения нарушала какая-то странная, меняющая ее облик строгость.

Неужели предаст?.. Но все равно,— бороться нет сил. Да и смешно бороться.

Кружка дрожала в моих руках, зубы стучали о края, я начинал уже глотать через силу. Сегодняшние пертurbationии давали о себе знать. Я не мог допить молока, хотя и жадно накинудся было на него.

Я чувствовал, что у меня очень беспомощный, жалкий вид.

— Вас били? — спрашивает.

— Нет.

— А отчего же синяки?

— Это я сам... удирая...

— Бедный...

Я поблагодарил, передал ей кружку.

— И не выпили даже? Вам очень холодно? Что же вы теперь? Вам, верно, и ступить теперь трудно?

Услышав это из чужих уст, я еще более встревожился, окончательно поверив в свое бесси-

лие. Но, думаю, поддаваться не следует,— вдруг
она выпытывает?

— Нет,— говорю,— не холодно.

— Не холодно? Чего же вы так позеленели?

— Это так... вокруг зелено, вот и я зеленый,—
попробовал отшутиться.

— Не обманывайте меня, я ведь вижу... И не
бойтесь. Вам нельзя никуда идти. Вам необхо-
димо передохнуть. Хотя бы день-два. Не бойтесь...
Вы здесь посидите до ночи, а я тогда приду и
как-нибудь вас спрячу? Хорошо?

— Ладно.

Я нарочно согласился без лишних разговоров,
чтобы скорее остаться одному и лучше обдумать
положение.

Женщина исчезла. Как видите, мне везло. Не-
ожиданно буду иметь и убежище и отдых.

Раз никто за мной до сих пор не явился, зна-
чит, я немного пересолит с предательством. А мо-
жет быть, те задержались? А может быть, она
нарочно, с тайной мыслью, предлагает мне этот
стдых, чтобы задержать меня? Кто знает... Подо-
зрительность — болезнь, но разве подозрения за-
частую не оправдываются? В конце концов, до
ночи все должно выясниться. Так или иначе, а
если уж на то пошло, мне не удрать. Поведет ли
меня женщина в хату или нет — все равно. Окру-
жат усадьбу — крышка. Если ж ничего не слу-
чится, тогда... тогда поистине — добрая фея...

На всякий случай я решил передвинуться в дру-
гой конец огорода. Передвинулся и убедился, что
эта ночь для меня действительно пропала. Голова
кружилась. Апатия. Даже сидеть трудно — так и
клонит лечь. Прилег. Глаза слипаются. Задремал
немножко. Проснусь, послушаю и опять, как пья-
ный, мешком на землю.

Уже совсем стемнело. Показался молодой серп луны и пропал. Ночь — словно дегтем налитая, крепкая, густая. Для бегства — лучшей не надо. Но нельзя, товарищ, никак нельзя.

Тогда я помаленьку перебрался к усадьбе. Не пришли до сих пор — значит, она искренно хочет мне помочь. Оставалось одно: отдать себя в руки этого неизвестного, случайного союзника. Я уклонился в сторону, потерял условленное место. Не беда. Авось разыщет. А лишняя возня еще чего доброго растревожит да наведет собак на след.

Мне недолго пришлось ждать. И где она выучилась так легко, бесшумно подкрадываться? Как вор, как тень...

Я подал знак. Оказывается, она уже приходила и, не найдя меня, беспокоилась — пропаду, мол, где-нибудь по дороге.

Мы пошли в хату. Окна плотно завешены платками и дерюгами. На столе — лампочка. Хата середняцкая, хотя вторая половина, которая по местному обычаю должна быть горницей, не достроена. В хате — никого, кроме нас да парнишки, спящего на полатах.

Хозяйка вынула из печи теплую воду, велела мне помыться. Через силу проделал я это, лишь бы не осложнять отношений. Потом вынесла из кладовой заплатанные штаны, рубаху, рыжий пиджачок. Она озабоченно возилась около меня, словно мать около сына, и я должен был безропотно во всем ей подчиняться. Ужинать я отказался: совсем не тянуло к еде. Тогда, — вот послушайте, как сумасшедше везло мне, — тогда она раскрыла свои планы. Я, мол, должен превратиться в Яська Мидуху, ее дальнего родственника из Старых Залещиков, о котором соседи слышали,

но которого никто не видел. Это на всякий случай. А пока что: здесь, сейчас же за речкой, под тем самым знаменитым обрывом, живет ее вуйко¹. Живет вдвоем с бабой. Они знают обо мне. Видели, как я бежал, и не верят, что остался жив. Они бедняки, и живут обособленно, а потому у них безопаснее, к ним не так часто заглядывают разные непрошенные гости. С ними все улажено, и старики рады будут помочь человеку, попавшему в такую сложную переделку. Там есть небольшой сарайчик с провалившейся местами крышей. Одной стороной он примыкает к стене обрыва и тонет в кустах, а другая сторона, еще не покрытая, выходит на село. Но это даже лучше: кто ж подумает, что за необшитыми стропилами прячется человек? А дедко набросает поперек чердака всякого хламу и загородит угол от любопытного глаза. Итак, нужно туда итти. Сейчас же. Немедленно.

Я не протестовал. Я не ожидал такого участия и дивился на мою спасительницу, на ее находчивость, смелость, преданность. Какое великое сердце!

Мы тихонько перешли мостик (женщина поддерживала меня), бесшумно скользнули на задворки. Я слышал, как учащенно билось ее сердце. А спустя несколько минут я уже лежал в полном мраке, укрытый какой-то дерюгой, и под сонные вздохи овец благословлял причуды жизни. Согласитесь, что жизнь прекраснее всего в своих капризах, и если бы не было неожиданно-стей и неприятностей, она стала бы скучной, как давно прочитанная книга... Будьте добры...

Конечно, хорошо было бы после всего этого

¹Вуйко — дядя.

отдохнуть, поесть, переждать до следующей ночи и, поклонившись в пояс добрым людям, взяв котомку про запас, тихонько поплестись дальше. Очень хорошо... Только это было бы слишком просто, слишком дешево. Жизнь не всегда это любит, ей за все нужно платить. К сожалению, я ошибся в расчете, считая пережитые сегодня невзгоды за исчерпывающий аванс. Я забыл о неизбежных и суровых процентах. И первая неприятность — моя болезнь. Хотя, правда, я был подготовлен, но все-таки... все-таки с того самого вечера я будто провалился в мрачную бездну. Я потерял сознание. Горячка, туман, всякая чертовщина... Иногда, в короткие минуты просветления, я улавливал взглядом темную колеблющуюся фигуру, склоненную надо мной. Но в следующую минуту чердак с этим отгороженным глухим закоулком казался уже могилой, из которой никогда не выбраться. Холодный пот еще обильнее покрывает тело. Опять я падал, опять бездна. Метался, стоял.

И вот как-то сообразил я, что начался третий день. Мне об этом сказали. Странно стало. Было такое впечатление, будто только вчера лег и всю ночь бредил. Лихорадка в течение дня еще несколько раз атаковала, однако к вечеру, когда обычно всякая болезнь усиливается, — к вечеру, говорю, ничего не изменилось. Это была внезапная острая простуда, процесс которой усложнили общая усталость, истощение, боль, нервное напряжение. Я сам себе поставил диагноз и пришел к заключению, что дело мое не так уж плохо. Раз полегчало, значит, кризис миновал, значит, выкарабкаюсь. Мучил только кашель, проклятый кашель! Ведь сидеть-то надо тихонько, а он как назло... А что, если сейчас на дворе сосед или кто

чужой? А?.. Сдерживаю себя, напрягаю все силы,—кровь в голову ударяет, слезы на глазах. Не могу. Так и прорвет! И каждую минуту чудится, что кто-то придет и... сам пропаду, и хожу беда.

Когда пригнали овец, стало легче. Пользуясь их возней, я уже мог держаться свободнее, мог позволить себе откашляться вволю.

Припоминаю: сквозь дырку, зиявшую между снопами кровли, был виден клочок неба. Было видно, как из голубого он превращается в оловянный, постепенно застывает, темнеет. Помню, я долго не мог оторвать глаз от него,—такой маленький, такой далекий, он будто сосредоточил в одной точке все пространство, звал, манил. Вам случалось попадать в неволю? Знаете, что такое минуты болезненной тоски и борьбы с самим собою? Ведь здесь было нечто общее. Меня до боли тянуло в родные края, к своим, воображение уносило в дорогую даль, и вместе с тем, казалось таким нелепым, смешным лежать третьи сутки в глухом углу, на шатком чердаке, не различая, где сон, а где действительность. Да, но не забывайте, что подобные минуты таят в себе необычайную ценность — нечто интригующее, заманчивое, бодрящее. Сознание опасности заставляет быть решительным. Даль — чем ближе, тем притягивает сильнее. Безвыходность побуждает к находчивости. Тогда, по крайней мере, я глубоко почувствовал, что пусть проболую целый месяц, пусть меня найдут, пусть пытаются, пусть что угодно, а я все-таки убегу! Все-таки убегу!

Когда в моем примитивном оконце застыла ночь,—тихонько пришла на чердак она,—вы уже догадываетесь, кто. Я сразу узнал ее, но из соображений удвоенной осторожности, лежал непод-

вижно, молча, как мертвый. Она тоже молчала. Потом начала шарить руками. Нащупала мое лицо. Приникла ладонью ко лбу, пробуя жар, и медленно сдвинула ее ниже. И тогда — ну, разве вам нужно говорить, что такое ласка для загнанного, как зверь, человека, что такое капля нежности для огрубевшего солдата, что такое, наконец, благодарность? Это не сентиментальности. Тогда мне очень хотелось поцеловать эту заботливую руку. Может быть, я и поцеловал бы, но вдруг подкатился приступ колючего кашля, и я упал головой на подушку (мне и подушку дали). Она поспешно принесла воду, встревоженно начала расспрашивать о болезни. Радовалась улучшению, и когда я сказал, что не знаю, как и отблагодарить ее за внимание и преданность, женщина скромно перебила:

— А вы поскорее выздоравливайте, вот и будет хорошо.

Мы разговаривали вполголоса. Оба неуверенные, оба напряженные, мы были в этом темном углу, как заговорщики. Между нами невольно возникала теплая близость, как между настоящими товарищами.

Лихорадка порядком изнурила меня. Вскоре мне уже не доставало сил для разговора. Я только слушал. Да и внимание все слабело. Анна предупредила, что на ночь возле входной лазейки будет ставиться лестница.

Она расспрашивала, не холодно ли, не голодно ли, может, недостает чего? Потом, не вспомню уж по какому поводу, рассказала о себе. Мне трудно было слушать. Лишь из отдельных отрывков я связал самое главное. Шесть лет тому назад она вышла замуж. Год прожила с мужем, и случилась у них горькая разлука: император при-

звал его,—Евгения, кажется,—в армию, призвал в далекие Альпы. Дважды Евгений приезжал домой, потом писал, обещал вскоре совсем вернуться,—и исчез, словно ветром унесло. Говорят, кто-то слышал о нем, кто-то из пленных даже видел и передавал, что его не пускают из концлагерей, что он собирается бежать. Только все это давненько было... От Евгения же ни весточки — хоть бы словом отозвался.

— Бедный... Может, и ему там горько... Может добрая душа и его где-то там приютит...

Гслос у нее дрожал. Вероятно, плакала, пытаюсь затаить слезы. Я хотел было обнадежить, успокоить, но она быстро поднялась и, не сказав больше ни слова, исчезла.

Утром, чувствуя себя лучше, я попробовал поднаться. В теле была еще неприятная вялость. Ноги дрожали. Все больные места давали себя знать. Однако я приблизился к моей лазейке, и — знаете что? — там, на дворе, на фоне яркой от солнца стены, поставив одну ногу на завалинку, старательно ваксил сапог польский солдат. Я так оторопел, что даже не отодвинулся. Застыл на месте. Солдат делал свое дело, а я почему-то не мог оторвать глаз от этой обрамленной галунами красной шеи и косых бажков. Лишь погодя, услышав конское фырканье, я опомнился, присел и судорожно переборол приступ кашля. Потом начал тихонько расковыривать сноп в другом месте, чтобы сделать узкую, незаметную дырку. Сделал. Приспособился. Припал к ней глазом. В этот момент солдат поворачивается и смотрит прямо на меня. Где-то тенькнула, оборвалась струна — сердце мое остановилось. Минута, как вечность. Солдат слегка потянулся, прищурился. А дальше? Дальше взмахнул щеткой и, блестя

желтыми кожаными леями, пошел в хату. Конечно, он не мог меня видеть, он случайно глянул на сарай, глянул на солнце, выплывавшее с той стороны. Ах глупое сердце!

Он был унтер. Кавалерист. Приятный визитец, что и говорить! Хотя все сыны Orla Bialeго¹ — щеголи, но в походе франтить недосуг. Должно быть, мой неожиданный сосед собирается остаться здесь подольше! Вот так сюрприз!.. Силы мои еще слишком ненадежны, да и вообще теперь трудно скрыться даже ночью. Он же, верно, не один. И в самом деле, не один: когда я глянул в верхнее окошечко на село, там на улицах, дворах, огородах было полно сероголубых юрких букашек. Вот так!.. Что же хозяева? Вероятно, волнуются, угождают. Да что они могут поделать! Они зависят от случая так же, как и я. Обстановка резко изменилась, и теперь, несмотря на прекрасное отношение, мне трудно чем-нибудь помочь.

Я наскоро обдумывал положение. Если бы меня, например, застигли в хате или на дворе, то можно было бы назваться Яськом Мидухой. Если бы не болезнь, то, конечно, вместо того, чтобы сидеть здесь бог знает сколько, лучше было бы крадучись спуститься вниз и в своем универсальном одеянии затеряться среди людей. Утопия! Невозможно. Как ни верти, а остается только чердак. И если случится встреча, если уж она неизбежна, — придется говорить всю правду, кроме правды о моих случайных союзниках: я, дескать, сам тайком залез сюда, и никто ничего не знает. Да, но одежда, кружка с водой, дерюга, подушка? Ну тут я больше не раздумывал. Я рьяно принялся за инсценировку. Рьяно — это условность, потому

¹Белого орла — государственный герб Польши.

что, сохраняя осторожность, каждое движение, каждый шаг я делал тихонечко, медленно, подавляя все время приступы кашля. А ведь нужно было, когда под ногами ходуном ходил настил, нужно было, говорю, и подушку и дерюгу старательно замаскировать среди хлама, которым хозяин перегородил навес. Замаскировал. Кружку подsunул к самому краю настила с тем, чтобы в критический момент одним толчком незамётно столкнуть ее со стены в бурьян. Одежда? Ах ты!.. А как с одеждой?.. И тогда я вдруг подумал: ну, какому дураку придет в голову лезть на чердак, если я сам себя не выдам? Чего, спрашивается? Ну, правда же?.. Вы усмехаетесь? Я тогда тоже усмехнулся, обругал себя трусом, олухом, еще чем-то, но декорации не нарушил. Неясная подсознательная уверенность ободряла меня. Я устроился на голом настиле и все силы сосредоточил на борьбе с кашлем.

В течение дня я несколько раз выглядывал в свое примитивное окошко. Войско двигалось непрестанно. Скакали верховые. Иногда раздавалась нестройная однообразная песня, так же нестройно и загадочно обрывавшаяся. Ржали кони, как-то резко звякали ведра, и все это покрывалось перекатным эхом балки. Дважды хлопнули выстрелы, обычные в такой обстановке.

Приблизительно перед полднем на перекрестке двух улиц появилась батарея. Видно, целый полк совершал переход. Только зачем он полным составом вкатился в село? Так бывает, когда бегут или слишком спешат на фронт. Спешат! Прекрасно: во-первых, мы скоро с ним распрощаемся, во-вторых, наши дела на фронте разворачиваются. Чудесно! Лежа на чердаке, я в то же время буду приближаться к своим. Замечательно!

И с высоты своей засады я почти с гордостью, с каким-то мальчишеским задорным чувством, начал созерцать расположившегося врага.

Мой хозяин... но, простите, я его впервые увидел и должен здесь уклониться для краткого описания.

Это была живописная фигура. Высокий, худой, в длинной, до самых колен, грубой рубаше, подпоясанной кожаным пояском, в самодельных обутиках. На слегка закинутой голове — буйная седая грива, еще резче оттенявшая коричневое лицо. Белые, взъерошенные крылышки бровей, обвисшие усы, и в зубах длинная, словно навеки припаянная фаяра¹. Прибавьте к этой фигуре медлительные, величественные движения и сучковатую зазубренную палку, прибавьте глубокий, проникновенный взгляд, и на вас невольно повеет Татрами, суровой красой задумчивых сосен, легендой о гномах, о королеве из ледяного замка, о королях-пастухах. Этому живописному деду пришлось... но нет, не буду забегать вперед. Об этом дальше.

Итак, мой хозяин, не торопясь, разгуливал по двору, а солдат почтительно обращался к нему: — Ojcie.²

Они разговаривали по-польски, и я вспомнил, что до сих пор не знаю, кто же мои спасители: поляки или украинцы? Хотя особого, решающего значения это уже не могло иметь, но все-таки для ориентации... Нет, думаю, сегодня или завтра обязательно разужу.

Остаток дня прошел без всяких осложнений. Я заснул спокойно. Ночью меня разбудило прикос-

¹ Ф а я р а — гуцульская трубка с длинным чубуком.

² О т е ц.

новение руки, настойчивое прикосновение чьей-то руки к моему лицу. Вскиваю, нервно вскрикиваю.

— Тш-шш... нельзя!

Едва сереет верхнее оконце. Рассвет или серая юзь. Возле меня — женщина.

— А вы испугались?.. Ничего, ничего... Все будет файно¹.

И смеется, что я трус, что понапрасну запрятал постель и валяюсь, словно конченный человек. А войско, мол, уже выступило. Говорят, опять будет итти войско. Тревога. Здесь оставаться нельзя: одни могут скоро пройти, а другие могут остаться на несколько дней. Что же тогда? Без воды, без присмотра?

Да и правда, как бы чего не случилось.

Дядькина усадьба от постоя, как видно, тоже не обеспечена. Лучше оставить ее да перебраться в более надежное место. И вот она хочет, чтобы я перешел в ее хату. Пусть даже для соседей не будет тайной, что Ясько неожиданно явился и заболел, бедняга.

Там я спокойно буду лежать на печи. Кому же придет в голову трогать больного? Там безопаснее. Там я скорее выздоровею. Вот она уходит к себе, а погода, пока темно на дворе, я тоже должен притти.

Анна говорила решительно, не допуская возражений. Да и не было смысла возражать.

Спустя некоторое время, я слез на землю. Поплелся. Итти было тяжело. Лежа, я не предполагал, что слабость так крепко овладела мной. Теперь, это стало ясно, и мысль о дальнейшем бегстве пока что являлась только пожеланием.

¹ Ф а й н о — хорошо.

Прихожу. Устроился на печи. Да, еще забыл: новоселье отпраздновал, выкурив папиросу. Солдаты забыли целую пачку, и я жадно затянулся впервые за четыре дня. Из груди вырвался такой кашель, что хозяйка непринужденно выхватила из моих рук и окурков и соблазнительную пачку, а гостью широким жестом указала на его новые апартаменты.

Утром сквозь сон я услышал:

— Мамка... кто?

В ответ короткий шопот. Потом — скрипучее пиччикато дверей и —

— Славайсу¹.

— На веки... Да, заболел, бедняга...

Еще кто-то забежал:

— Niech będzie pochwalony²...

И шептались. Отчетливее всего из уст в уста перебегало слово «двоюродный брат». Я привыкал к новой роли.

С этого утра я начал лечиться. Мне дали горшочек топленого молока с доброй порцией масла. Анна велела выпить все до капли, и хотя питье было слишком приторное, но я добросовестно исполнил приказание.

И тогда же, помню, ее спешно позвали к дядьке.

Через порог ворвался звонкий голосок (сын моей хозяйки) и позвал.

Пошла.

А вернулась почему-то хмурой. Почти не разговаривала. Гибкая, с завидно-моложавой осанкой, она молча сновала из хаты во двор, со двора в хату, позвякивала посудой, изредка нетерпе-

¹ Приветствие — слава Иисусу.

² Приветствие — да будет хвала (богу).

ливо покрикивала на ребенка. Я же в своем углу с каждой минутой начинал испытывать все большие мучения: сегодня, как нарочно, пекли хлеб, и печь накалилась. Выпитое молоко тоже вызывало пот. Вскоре я почувствовал себя в настоящей бане. И когда, не вытерпев, пожаловался хозяйке, она коротко кинула:

— Вот и прекрасно.

Метод лечения, правду сказать, немного жестокий. Однако, настойчивость лекаря и скупость его на слова заставляли и пациента молчаливо терпеть. Что ж делать... Анна все-таки была права, если не предлагала мне слезть вниз. Внизу я сразу же бросался бы в глаза, а здесь в любой момент можно было скрыть себя занавеской, висевшей на веревке, перетянутой от печки к стене. Хотя и знал кое-кто о появлении Яська Мидухи, да все же лучше, если Ясько не будет напоминать о себе. Это имело некоторое психологическое значение.

После обеда, встав из-за стола, Анна поклонилась иконам. Рука торопливо перебежала по груди, кладя крест. Я не успел подметить, каким именно образом она крестилась, но из того, что она обращалась к ребенку преимущественно польски, я понял, что она полька. Потом она забрала мальчика и ушла, закрыв двери из сеней на щеколду. Я остался полновластным хозяином. Ну, теперь, думаю, довольно мучить себя в невероятной духоте. Попробовал слезть на лежанку, освежиться. Трудно. Тогда разделся. Опять развалился на печи, как на пляже. Духота вялит мысли. Лежу пластом. Дремлю.

Вдруг слышится мне под дверьми какая-то подозрительная возня. Кто-то нерешительно постукивает щеколдой, кто-то чужой осторожно про-

бирается в хату. Вор? Кто ж бы другой решил-
ся, если хата заперта? Хозяева, мол, отлучились—
на огороде, или у соседей,—а тем временем...
Ясно—вор. И забыв о слабости, забыв о своем
костюме прародителя, я срываюсь, готовый вот-
вот схватить в объятия непрошенного гостя. Уж
какие были бы эти объятия—не важно. Важно
внезапно оглушить. Да... Дверь скрипит...

— Иезус-Мария! — испуганно отмахивается, от-
шатывается к косяку — знаете кто? — наш доб-
рый знакомый, наш картинный дед. Пауза — и
мы оба засмеялись. Торопливо одеваясь, я объяс-
няю, почему именно так преобразился, он же
уверяет, что я ему показался сатаной.

— А где Анна? — спрашивает.

— Не знаю.

— Уж не у нас ли? Так, так...

Оказалось, что он сейчас не из дому, а по до-
роге домой. Топчется дед, обводит глазами все
углы и неожиданно останавливает взгляд на мне.
Многозначительно, вопрошающе. Я жду, что он
что-то скажет, но он из-под своих нависших ку-
стиков молчаливо пронизывает, сверлит острым
жалом.

Даже неловко.

— Что вы? — спрашиваю его наконец, сам ста-
раясь быть спокойным.

— Ничего... — говорит, — ничего...

Покачал головой и ушел.

Что это могло означать? Отчасти я понимал,
отчасти терялся, удивленный этим загадочным по-
ведением. Одно, в чем не могло быть сомнений,—
это признак какого-то осложнения. Кто знает...
А впрочем — скорее бы выздороветь да уйти по-
дальше. Я, как видите, хотел отмахнуться. Но не
тут-то было. Вновь возникла подозрительность,

и взгляд деда запал глубоко. Интриговал. Волновал.

Когда явилась Анна, она еще из сеней брызнула смехом. Она успела узнать о моем приключении и, смеясь, несколько раз переспрашивала о подробностях. Этот случай как бы развеял скрытую, непонятную натянутость, возникшую между нами с утра. Мы разговорились. И все же по выражению лица, по движениям, по интонации я заметил, что Анна принесла с собой что-то недоброе. Постепенно подготовив почву, я спросил, что слышно.

— Война близко... Ой, война близко!

В селе, по ее словам, как в котле кипит. Люди очень встревожены. Ходит слух, что враг надвигается непрестанно, никакими силами его не удержать. Говорят, что скоро будет здесь. Моска-ли! Те самые, что однажды приходили. Да если б только они! А то с ними еще более страшные, невероятные, чудовищные, до сих пор не виданные. Большевики!..

— Swita Maria!¹

Что я переживал в те минуты — лишнее говорить. Испуг и предубежденность женщины, от которой я слишком зависел, заставили пока глубоко затаить в себе искренность, одеть личину. Я сочувствовал ей. Я осторожно пробовал успокоить.

— Не бойтесь,— говорю,— все это глупости, паника...

Temproa mutantur— мы начали меняться ролями. Плохо только, что роль моя была немного фальшива. А у женщин сердце чуткое.

Она печально глянула кругом.

¹ Святая Мария.

— Если бы пронесло... И до каких пор это будет? День за днем, год за годом. А где жизнь? Я вас спрашиваю, где жизнь? И когда она придет, жизнь-то самая? Когда?

Глаза вспыхнули вызовом. Ясно: это было утомление за шесть лет тревог, это была жажда примитивного счастья. Она по-своему мыслила жизнь, она, вероятно, боялась, что годы пропадут понапрасну, и каждый день провожала с болью. Бедная Анна! Но как ее успокоить? Она будто и слушала меня, будто и не слушала. Она таила еще какие-то мысли. Задумчиво шагала по хате. Бралась за уборку, и все валилось у нее из рук. Не могла успокоиться.

И вот, бросив работу, Анна подходит к печи, облокачивается на карниз, тихо спрашивает:

— А скажите, кто вы?

Вот оно! Вот здесь мне многое открылось. В одно мгновение промелькнули в сознании и польская шинель, и «руснацька мова», и рассказ о Евгении. Да, да!.. И утренняя молчаливость, и взгляд деда — все понятно.

— Кто я? Разве вы не знаете? Ясь Мидуха.

Она усмехнулась, но, не меняя позы, не спуская глаз, настойчиво повторила вопрос. Что я мог ответить? Сказать правду — слишком опасно. Врать? Что же именно врать? Назваться уголовным нельзя, — ведь я уже поклялся, что не душегуб. Да это было бы наихудшее. Назваться поляком — смешно. Галичанином — неправдоподобно. Ладно, думаю, а за кого же ты меня до сих пор принимала? Ведь кем-нибудь я должен быть в ее глазах? Надо разузнать.

— А как вам кажется, — обращаюсь я к ней, — кто я?

— Не знаю... Сначала... как бы наш, русин. По-

том... потом и вуйко говорил, что вы петлюрчик. К нам сюда забегали петлюрчики... тоже наши...

Ах прекрасная женская наивность, будь ты благословенна во-веки!.. Карты раскрыты, можно переходить в наступление.

— А теперь?

— Что теперь?

— Сначала, потом, а теперь? Что теперь вуйко говорит?

— Теперь он не знает... и я не знаю.

— А я знаю.

— Что?

— Знаю: вы подозреваете. Вы подозреваете, что я большевик. Да, да!..

Анна предупреждающе быстро подняла руку, но я уже не дал ей сказать. Я забросал ее словами. Я подбирал разнообразнейшие аргументы, подтасовывал, ссылаясь на свое самолюбие, на ее рассудительность. Кое-что остро осмеял, кое в чем признал смысл, за кое-что очень обиделся. И наконец сознался, что я действительно петлюровец. И как она могла сомневаться? Я — дезертир. У меня дома жена, ребенок. Я уже три года воюю. Я не могу больше. Я бегу.

Моя хозяйка сочувственно вздохнула:

— Бедный...

Потом вполголоса, больше самой себе:

— Вот есть же такие, что бегут...

Задумалась. По-моему, разговор ее удовлетворил.

Вечером приходили соседи, и она опять говорила о кузене Ясе.

На ночь, как и утром, — порция молока с маслом. Улеглись. Темно. Тихо. И вдруг шопот:

— Так вы говорите, не страшно?

— Конечно, нет. Чего же страшно? Господи!

Но через несколько минут спрашивает громко:

— А почему вы догадались?

— О чем?

— О большевике?

— Вот те на! Что ж тут? Так ясно, понятно...

На этом замолчали. Только я уже не мог заснуть. Не спала и Анна. Хотя было темно, но я знал, что она лежит с открытыми глазами, упорно раздумывает, сомневается. Между нами без слов, без взглядов выростала глухая недоговоренность, пожалуй, даже холодность. И это подтвердилось на утро. Лекарство утром было мне подано, как и вчера, да разве дело в словах? Я убедился, что между нами возникла грань, быть может, неясная, не совсем осознанная, но все же грань. Будь готов!

Так прошло два дня. На третий, на рассвете прогремел гром. Сначала я думал, что это мне снится. Нет, не сон. В хате тишина, а там, где-то в темноте, далекие перекаты. Гу-рр-р!.. — и через несколько минут коротко, мягко: гух! Понимаете? Я сам себе не верил. Я все думал — сплю. С болезненным напряжением ловил я эти звуки. Неужели началось? Неужели?.. Я пытался хоть приблизительно угадать расстояние, а в груди замирало, трепетно замирало при каждом ударе. Да, в дыхании смерти иногда бывают и вздохи счастья. Не походил ли я тогда на религиозного фанатика? Ведь я всем существом призывал к себе молнии земного бога, молился, чтобы его смертельные аккорды скорее разразились над моей головой. Аккорды вскоре затихли. Меня охватила такая глубокая радость, стало так хорошо, что я... я заснул глубоким сном праведника.

Было воскресенье, и Анна с малышом собралась в костел. Помню, когда двери за ней закры-

лись, я почувствовал облегчение. Меня уже стесняло ее присутствие.

Теперь нужно было хорошенько обдумать положение, становившееся серьезным. Там — далекие, еще неопределенные раскаты, здесь — определенное подозрение, скрытая враждебность. Соблазненный, подкупленный сердечностью, я до сих пор не очень заботился о том, чтобы, так сказать, политически зарекомендовать себя перед хозяевами. Да и для чего? Не все ли им равно, кто я? Они ведь хотели только помочь человеку. Если бы не шумное передвижение войск, если бы не паника, все бы, конечно, обошлось. Но добродетель — явление условное. Добродетель боится потрясений. А после этих ночных вестников можно ожидать и большего. Что же теперь? Бежать? Нет, бежать не следует: во-первых, силы еще сомнительны, а потом — бежать, когда каждую минуту надвигается фронт, когда нужна максимальная осторожность, когда, наконец, есть щелка, где можно притаиться и переждать, чтобы девятый вал перекатился через голову, — бежать, говорю, было бы глупостью. Оставаться? Хм! Хорошо, если напряженность пойдет на убыль. Только дед, видно, настойчивый проныра. Вряд ли он оставит дело, не доведя его до конца. Он уже посеял злое семя. Он теперь начинает докапываться глубже и глубже, он неотступно будет агитировать Анну.

Но, черт возьми, о чем, собственно, может быть речь? Точных данных у них все-таки нет. Если же слепой патриотизм или страх слишком переполнит их существа, то и тогда у меня прекрасный аргумент: я — Ясько Мидуха. Об этом и соседи знают. Не побегут же они, в самом деле, родственника выдавать!

Довольно. Решено. Из хаты ни шагу. В конце концов даже обидно: столько намучиться, столько пережить, дойти чуть ли не до порога заветной цели и — стоп. Из-за каприза отсталого человека играть своей жизнью? Отнестись легкомысленно к самому острому моменту? Не сумею ступить последнего шага, чтобы перейти мостик? Обидно, бессмысленно. Из хаты я не уйду, пусть землетрясение, пусть даже потоп. Все равно.

И вот возвращается Анна. Я молчу. Она тоже молча ходит из угла в угол, не найдет себе места. Что-то есть... Ой, что-то есть!.. Я делаю вид, что просыпаюсь, и немного удивленно, вопрошающе смотрю на нее. Останавливается, тоже вопросительно взглядывает на меня. Начинаем самый невинный разговор. Она подходит ближе, нервно теребит платок. Сегодня она гладенько причесана и в праздничном платье. Сегодня она хмурится, хочет быть строгой. Это ей к лицу. Да, но какие глупости, какие невероятные глупости плетет она сегодня! Это уж вовсе не к лицу. Вот послушайте: она слыхала о большевиках. Она вся под впечатлением проповеди, которую произнес сегодня в костеле ксендз-пробощ¹. Теперь она знает, что большевики — басурманы, что они преследуют всех христиан, особенно поляков, и жгут костелы. Она теперь знает, кто они, откуда, какие.

— Какие же? — спрашиваю с любопытством.

— Большие-большие... Страшные... одноголазые... С одной рукой, с одной ногой... Niech Pan Bóg broni!²

¹ Пробощ — благочинный.

² Спаси, господи.

Я искренно рассмеялся. Анна сдвинула брови, насторожилась.

— Смеюсь,— говорю,— потому что таких никогда не видал. Воюю, а таких, ей-богу, никогда не видывал.

— Значит, ксендз-пробош говорит неправду?

— Нет, он просто не знает.

— Знает он, знает! Там ведь не все такие. Там даже больше обыкновенных людей. А такие там за командиров.

Я, конечно, смолчал, что мне очень хотелось увидеть самого уважаемого ксендза-пробоша. Интересно же, как должен выглядеть этакий человек. Во всяком случае, нечто дегенеративное, желчное, кипящее злостью — не так ли?.. и хитренькое, едкое, как и подобает настоящему иезуиту.

Стало жаль мне Анну, а к наставнику духовному возникло такое отвращение, что кажется, если бы случилось встретиться... Да вы, надеюсь, меня понимаете.

— Что делать? Куда прятаться? Говорят, будто ночью уже стреляли.. — ходит моя хозяйка, ломает руки.

— Да куда не нужно прятаться,— уговариваю ее,— ничего не нужно.

— А ну вас! — Это вы лишь такой зух¹ А они-то детей едят, они из людей живьем кровь пьют...

Ну, тут я не выдержал, расхохотался на всю хату.

— Так вы не верите? — подскакивает ко мне.

— Конечно, не верю.

— Так ксендз-пробош врет?

— Конечно, врет.

¹ Зух — храбрец.

— Ах!..

Что я наделал, что я в сердцах наделал! И знал ведь, понимал прекрасно всю сложность обстоятельств, следил за собой — и на тебе! Для нее ксендз-пробош — *ultima ratio*¹. Как можно! Как можно!

Это была не Анна. Это было уже нечто чужое, грозное, с глазами, полными искр.

— Пани, простите... — прошептал я взволнованно.

Она замерла. Только губы истерически дрожат, готовые плюнуть каким-то страшным, неслыханным до сих пор словом. Пауза. И, как хищник, подкрадывается она к печи, бьет рукой в стену, бросает мне:

— Лайдак!..²

— Пани Анна...

Что мне оставалось? Только молчать. Так лучше. Пусть, думаю, перекипит.

Молчу. Обмениваемся долгим пристальным взглядом. Женщина постепенно теряет энергию, как-то сжимается и медленно, отягченно, словно в бреду, подвигается к кровати. Упала на подушку и... плачет. Да, да, плачет. Ну, что тут поделаешь? Причина, знаю, не только в этом злосчастном разговоре. Тут, знаю, бурно разрядилось все, что в последние дни переполняло ее существо.

В самом деле, подумайте: в доме враг. Да и какой еще враг! А впрочем — кто знает? Быть может, и не враг. А что, если враг? Ведь этак близко к отчаянию. Ведь... Словом — беда.

Погодя, подходит она ко мне и серьезно, твердо:

¹ Высший разум.

² Лайдак — негодяй.

— Я знаю, вы — шпион.

— Помилуй бог!

— Да, да! Вы большевистский шпион. И вот что: вечером убирайтесь куда хотите, чтоб и духу вашего не было.

— Пойдите...

Но никаких оправданий, никаких доводов она слушать не хочет.

Тогда пробую апеллировать к ее совести — больной, мол, я, нет еще сил у меня.

— Да пусть лучше гром разразит вас, если вы способны людей губить. Так вам и надо. Убирайтесь!

Я в ответ набожно крещусь. Впечатления это не производит. Я клянусь матерью, своим ребенком. Впечатления также не производит. Тогда решаюсь пустить в ход последнее оружие: если мне совсем не верят, если мне уж суждено пропадать, то лучше я останусь в хате. Будь, что будет.

— Что вы! Да вас сегодня же в тюрьму поведут.

— Кто?

— Жандармы.

— Кого?

— Вас.

— То есть, Яська Мидуху?

Она вскипела. Из багровой стала, как полотно. Но сдержалась.

Игра была довольно опасна, зато решительна. По крайней мере, скорее определится линия поведения. Анне, пожалуй, не годилось обострять положение. Она являлась инициатором всей истории с укрывательством и должна была чувствовать на себе всю ответственность (недаром только что она так плакала!). Боясь дяди, она теперь вряд ли рискнула бы рассказать ему о таких

осложнениях. Ей оставалось, по-моему, одно: скрывать и старательно продолжать игру. Перед соседями — игру в двоюродного брата, перед дядей — что все, мол, хорошо, и никаким подозрениям нет места. Допустить иное — это допустить что они, сговорившись, убьют меня. Ну, конечно, глупости. Нужно лишь сосредоточить все внимание и находчивость к последней минуте фронтовых бурь. Тогда, действительно, многого можно ожидать. Если же обстоятельства изменят и красным не удастся докатиться, — выжду, сколько надо, и в одну прекрасную ночь тихонько убегу.

Я попросил закурить. Представьте, она спокойно, будто ничего не случилось, подходит ко мне с папиросой в протянутой руке. Подходит, добродушно улыбается:

— Захотелось покурить?..

— Да, — говорю.

— Очень?

— Очень.

И перед самым моим носом рвет в клочья папироску.

Так думаю, — это, в конце концов, не плохой признак. Это как бы подтверждает мои догадки о твоём, голубушка, скверном положении. Безвыходность раздражает. Не терпится отомстить. Ладно. Терпение, тысячу раз терпение!

К вечеру новая история. Является юркий человек, здороваётся и говорит Анне, что родственника, который к ней пришел, нужно зарегистрировать в гмине. Войт¹ приказал обязательно это сделать, чтобы не случилась, сохрани бог, какая-нибудь неприятность.

— Да он больной, бедняга... Он и встать не в

¹ Войт — староста.

силах. Где уж там ему в гмину итти! Такая беда мне, такая беда...

Человечек сочувствовал. Однако нашел простой выход — предложил передать документы непосредственно ему, обещая поскорее уладить дело.

Анна согласилась, даже поблагодарила за хлопоты.

— Только,— говорит,— Ясько сейчас спит, целую ночь промучился, вот сейчас только... А я без него не знаю. Позвольте уж завтра принести. Я сама вам принесу.

Они еще долго говорили о войне. Чувствовалась растерянность, хотя человечек старался уверить, что ничего страшного нет, и врагу, мол, дан уже решительный отпор. На прощание он снова напомнил, что завтра, а самое позднее — послезавтра необходимо зарегистрироваться.

— Хорошо, хорошо.

Человек вышел. Тогда Анна опрометью ко мне:

— Слышали?

— Слышал.

— Ну, что ж теперь?

— Ничего.

— Как же ничего?

— Да так, ничего. Разве я могу показать свои документы? Я ведь дезертир.

— Что же теперь будет?

— Ничего не будет.

— Ой боже мой, боже...

Она прссилла. Трогательно, нежно просила оставить хату. Наивный человек! Она думала, что если запахло властью и документами, я все-таки осмелюсь слепо рисковать. Я пообещал, что завтра уйду. Анна умоляюще, с мукой взглянула на меня, словно ей тяжело было расставаться, и сказала:

— Нет, сегодня.

— Сегодня нельзя.

— Прошу, очень прошу — сегодня.

Я категорически отказался. Все же я выигрывал один день. Завтра так или иначе можно оттянуть регистрацию до вечера, а для меня сутки имели большое значение.

— А может, вы бы пошли? Тихонько, помаленьку пошли бы себе? Я вам харчей на дорогу собираю.

— Нет.

— Ой, не шутите со мной! — сверкнула глазами.

Я усмехнулся, но потом, когда уже стемнело, решил проверить свои силы. Спустился на пол, попросил шинель. Шинель я теперь хотел иметь при себе на всякий случай. Анна подозрительно, удивленно следила. Молчала. Когда же я взялся за пистолду, подбежала и спрашивает:

— Куда?

Она стояла наготове, чтобы захлопнуть за мной дверь, но я не дал ей этого сделать. У самого порога я спокойно повернулся и спокойно направился к печи. Женщина одним скачком очутилась впереди. Вся — движение. Брови изломаны... Губы дрожат. И с тяжелым вздохом, сквозь зубы так злобно:

— Уххх!

Ух, как она меня ненавидела!

Ночью будят. Открываю глаза, всматриваюсь — на краю печи сидит Анна. В чем дело? Вздвигнутая, странная, что-то бормочет. Никак не пойму. Наконец выясняется, что ей приснился тяжелый сон. Не помню уж, что именно, но, рассказывая, она дрожала, как лист. В чем дело? А вот в чем: она чувствует, что этот сон не даром,

она чувствует сердцем, что должно случиться какое-то большое несчастье. Я пробовал успокоить. Взял за руку. Ласково, тихо говорил с ней. Тогда склонилась ближе и совсем по-ребячьи попросила:

— Уходите из хаты... не мучьте мен...

— Я завтра уйду.

— Идите сейчас, умоляю вас!

— Завтра.

— А что же я завтра скажу войту? Господи! Они ж и меня и вас в тюрьму...

Но я был уверен, что каким-нибудь способом можно выманить у войта завтрашний день. Этот завтрашний последний день в хате казался мне таким дорогим, заманчивым, будто последний день жизни. Я был упрям. Может быть, даже несколько жесток, но согласитесь, мне никак не следовало раскисать. Не каприз, не глупый эгоизм, а логичная последовательность: двадцать четыре часа при орудийной подготовке пахнут весьма интересными возможностями. Я просил Анну согласиться на эту, так сказать, жертву и начал комбинировать разные способы для завтрашних оправданий. Ну, хотя бы запереть меня на замок, а самой пересидеть где-нибудь у соседей. Ну, хотя бы...

— Уходите... уходите...

Она, протестуя, качала головой, твердила только одно неизменное: «Уходите». И как-то сразу, неожиданно умолкла. Я тоже умолк. Несколько минут острого напряжения.

Потом круто оборачивается, стонет в отчаянии:

— У-хо-д-ите!

— Пани Анна...

— Сейчас же уходите!

— Пани Анна...

— Не уйдете? Нет? — и не успел я опомниться, как гибкое крепкое тело упало на меня, а железные коготки впились в лицо, в шею.

Безумная женщина! Я еле оторвал эти скрюченные, цепкие когти. Оторвал, изо всей силы встряхнул ее. Она чуть не упала на пол. Обмякла, прислонилась к печи, зарыдала...

Нет, думаю, капризничай сколько хочешь, а я на своем поставлю. Оправляю постель, устраиваюсь поудобнее, выжидаю. Да... На этом, собственно, и кончилось. Вскоре она спустилась на пол. Не сказала ни слова. Легла.

Опять грохотали орудия, и я задремал уже под утро.

Занавеска спущена.

— Matko, mleka!¹

Вдруг — топот, шум, лязг. Просыпаюсь. Утро. Дзеньк-дзеньк, шпорами...

Новый визитец! Что же теперь? Что ж Анна? Ведь так просто — отдернуть занавеску и сказать: берите, это шпион. И она... она действительно подходит. Да, подходит, отодвигает и спокойно, строго говорит по-польски:

— Видите... у меня в хате больной, тяжело больной. А вы подымаете шум. Как можно!..

Я был поражен. В один миг я провалился в удушливую бездну и сразу же выплыл на поверхность, где дышать стало легко-легко...

Инсценировка подействовала. Правда, один из гостей засмеялся и начал было: «мы тоже не лучше больных», но другие его поспешно перебили, требуя еды. Анна принесла им молока. Конец занавески так и остался закинутым на шнурок — откровенность и явная озабоченность дол-

¹ Мать, молока!

жны были еще сильнее убедить. Возможность подозрений была парализована, да парням, видно, и не до того было. Они жадно глотали из кружек, часто посматривая в окна — там, на дворе слышался конский топот. Не скажу, чтобы мне было очень страшно (враг страшен, когда он далеко), а все-таки... все-таки, почему бы кому-нибудь из них не подойти к печи, не поинтересоваться? Если бы Анна молчала, никто бы и внимания не обращал, но Анне, очевидно, нужно было меня, меня помучить. Сама ведь рисковала, слишком рисковала, и в то же время... Ах безумная женщина!..

Она расспрашивала гостей о войне. Солдаты отвечали нехотя. Собственно, отвечал один, тот, что и себя считал больным. Отвечал шутками, с бравурным, деланным смешком.

— Uciekaj, matko! Bolszewik nie całuje!..²

Другие два хмуро отмалчивались. Сидели недолго. Их неожиданно позвали со двора, и, кинув еду, они ушли. Тогда Анна наскоро отправила ребенка к деду, заперла двери и приблизилась ко мне с победно-уверенной, едкой усмешкой.

— А что, испугался?

Я тоже ответил улыбкой, добавив, что на худой конец не миновать бы беды и хозяйке. Но она не хотела меня слушать. Она задорно смеялась, смотрела презрительно, вызываяще.

— Что,— говорит,— хочется к женошке? На подушечку? А? Бедный мой мальчик... А знаешь,— говорит,— я ничего не боюсь. Это ты все ерунду мелешь. Ей-богу, не боюсь. Вот сейчас,— говорит,— пойду и выдам тебя солдатам. Мне ничего не будет, еще поблагодарят.

² Удирай, мать! Большевик не целует.

А у самой столько напряжения, столько задора, столько слепой злобы и отчаяния, что, честное слово, она казалась на все способной.

— А ну, слезай с печи! Слезай, не то буду кричать. Слезай!

Она, в самом деле, взвизгнула. Я должен был слезать.

— Падай на колени,— говорит, и сама сбила меня с ног (так, дескать, падай).— Ну, проси, проси!..

Тут я не вытерпел. Срываюсь, бросаюсь к ней. А она руками голову закрыла, присела и этак тихонько, жалобно:

-- Не бей,— говорит,— я ведь пошутила...

Как вам нравится? Она пошутила! И шутя, сгибаясь, извиваясь, она выползла из хаты. Теперь, конечно, можно было всего ожидать, но не мог же я не пустить ее. Через минуту, крадучись, я тоже выбрался на двор и нырнул в спасительную кукурузу. На селе хлопнуло, несколько выстрелов. Потом затихло. Выстрелы, очевидно, были случайны...

Так просидел я до ночи. Ночью перелез, как кажется, в пятую или шестую усадьбу, тоже в огород. Выбрал наилучшее место. Там, под плетнем, в зарослях дерезы, устроил берлогу, замаскировался ветвями, решил переждать еще сутки. Пусть теперь милая хозяйюшка выдает меня кому только вздумается,— все равно в этом гнезде не найдут. Но хозяйюшка, должно быть, уверена, что уже и след мой простыл.

Сиделось неплохо. Хотя вскоре стал донимать голод. Да это еще полбеды. Главное — ни кашля больше, ни страха за свою слабость. Лишь глухая боль в поврежденных местах, и то, когда неловко повернешься.

Перед рассветом (недаром я так упорно не хотел уходить из хаты, не хотел уходить из села перед рассветом) где-то неподалеку затрещал пулемет. Скорее бы, скорее! Раз пулемет, значит — совсем близко, значит, не стоит рисковать.

Я был прав. К полдню разразилась внезапная трескотня. Одни сыпали из оврага, другие с противоположной стороны, а я был посредине и заклинал густых шмелей лететь повыше.

Продолжалась эта перестрелка минут двадцать-тридцать. По-моему, враг имел прекрасную позицию, но его, повидимому, обошли с фланга и заставили вскоре эту позицию сдать. А потом, помню, кто-то дважды выкрикнул диким голосом. «Тарасов! Тарасов!» — и послал вдогонку универсальное словцо. Село перешло в наши руки. Finis.

Это было во время нашего последнего наступления, когда — помните? — красные неудержимо летели на Львов, а белополяки летели на Карпаты... Именно потому и произошла столь быстрая трансформация.

Вы, вероятно, догадываетесь, что приключение мое заканчивается. Да, друзья, приключение действительно заканчивается. Разрешите еще только несколько коротеньких последних слов.

Из соображений осторожности я просидел в своем гнезде до следующего утра и, совсем изголодавшийся, но уверенный и гордый победой, пошел к... ну, конечно, к Анне. Нужно же было поблагодарить и попрощаться. Открываю двери, — в дверях дед. Чуть не столкнулись.

— А-а-а... Здравствуйте! — говорю.

Он не ответил. Пристально поглядел на меня, загадочно усмехнулся.

— Куда же вы теперь? — спрашивает и пронизывает, понижывает.

— Пока что к вам, — говорю, — поблагодарить забежал.

А он:

— Ты, паренек, не иначе, как счастье чужое украл... Но не играй с ним, ой, не играй... — многозначительно погрозил пальцем и выплыл из хаты.

Тогда — Анна. Встретила она меня очень радостно, трепетно, словно мы старые, добрые друзья.

— Вы большевик, ей-богу, большевик.

— Да нет, разве ж я с одной рукой, с одной ногой?

Она смеялась. Она ни за что не хотела отпустить меня в дорогу. Во-первых, ожидала дождя, во-вторых, считала лучшим обождать, когда новая власть обоснуется в селе. Ссылалась на разные прифронтовые опасности, на необходимость подготовиться к дороге и отдохнуть, еще на какую-то опасность, еще на какую-то необходимость, — словом, успеется еще испробовать беды. Кое в чем она была права, но главного не сказала: ей хотелось теперь удержать возле себя чужого человека хоть на день, хоть на часок. Тревога и растерянность были в ее глазах.

Я не давал окончательного ответа. Нарочно не давал, так как для меня, — беглеца, очутившегося уже по ту сторону, — лишние сутки не играли никакой роли. И в то же время, разве вас или кого другого не интересовало бы теперь поведение этой женщины?

Анна хлопотливо взялась за стряпню. Между делом рассказывала, что они все, кроме деда, прятались в погребе и страшно волновались. Я спросил, видала ли она большевиков.

— Нет, другие видели,— ответила она.

— Одноглазые? — спрашиваю.

Она виновато опустила голову. Потом берет за руку малыша, шутя подводит его ко мне:

— Смотри, Стась, это большевик. Ага!

Стась, из которого я давно должен был живьем высосать кровь, стоял между нами и недоуменно поглядывал. Что-то, вероятно, по-своему сообразив, он очень серьезно промолвил:

— Как оно тукнет, я так напугался...

Славный, шустрый мальчуган. Освоившись, он рассказывал препотешные истории, и мы с ним долго играли. В течение целого дня в хате не смолкала беседа... Что? Да, да, целого дня,— я отложил путешествие до завтрашнего утра.

Да, еще забыл: я ведь ходил в гмину (не регистрироваться, нет), ходил разузнавать, где штаб полка или бригады. Никого там из своих не застал. Узнал лишь, что несколько часов тому назад прилетали наши верховые и дали приказ спокойно продолжать работу, что фронт продвинулся верст на восемь-десять, что какой-то штаб стоит в соседнем местечке, в тылу, тоже верст за десять-двенадцать.

Как видите, вчерашние враги постепенно становились друзьями. Да это и понятно: вместе пережитое часто сближает, а неприятности особенно.

Историю с дикой «шуткой» Анны оба мы замалчивали, будто ничего не произошло. Ей было стыдно, а я не хотел начинать первый. И чтобы избежать неловкости, говорили не переставая, говорили обо всем, что только могло нас интересовать в те минуты,— больше всего, конечно, о войне, о большевиках. Анна внимательно прислушивалась к моим словам. Анна соглашалась, но

все же я несколько раз подметил в ее мыслях за-
таенный протест. Несколько раз как бы намеком
проскользнуло нечто вроде: не удался наш мак,
проживем пока и так. В конце концов, от нее
другого и требовать не приходилось. Это ведь
первые дни — дайте освоиться.

На ночь постлала мне внизу, и когда улеглись:

— А может, вы,— говорит,— еще немного обо-
ждали бы с дорогой?

На мой вопрос, из каких именно соображений,
она объяснила тем же, что и утром. А когда я
решительно отказался, она бросила задорно, с ус-
мешкой:

— Бойтесь, что не успеете? Бойтесь, что вашим
скоро удирать отсюда?

— Нет,— отвечаю,— удирать мы не умеем. Раз-
ве... что по доброй воле...

— Неужели?

Этакий звереныш!

Ночью она молилась. Я чувствовал себя беспо-
койно, нервничал, спал одним глазом. И я слы-
шал, как горячо шептали ее уста:

— Pod Twoja obron...¹

Утром, наскоро подав завтрак, Анна еще раз
предложила переждать дня два. Я решительно
отказался. Тогда взяла ведра и, попросив подож-
дать ее, исчезла. Проходит пять минут, десять,
пятнадцать — нет. Встаю, хожу, выглядываю, са-
жусь, снова встаю — нет. Я начал терять терпе-
ние. Уйти, бросив так хату, неудобно. Но и ждать
бог знает сколько тоже невозможно. Дал я себе
сроку еще минут десять, думаю: не придешь —
не надо. А на сердце как-то тоскливо, скверно.
Наконец, отрезаю ломоть хлеба, кладу в карман,

¹ Под твою защиту...

берусь за щеколду — навстречу Анна. Просит простить, что запоздала. — Подождите, я харчей на дорогу соберу и провожу вас немного. Вы же дороги не знаете.

Дороги я, действительно, не знал (хоть это особенного значения не имело), но отказаться от последних услуг моей хозяйки, от ее любезности — вы бы наверное тоже не отказались.

Она суетливо бегала из хаты в кладовую, из кладовой в хату, озабоченно возилась над узелком, словно снаряжала в далекий путь. Но вот набросила на себя большой платок, запрятав узелок в его складках. Двинулись.

Было чудесное утро. Ни облачка, ни намека на дождь. Я заметил Анне, что из нее вышла бы плохая ворожея. Она улыбнулась, и на этом замолчали. Она казалась спокойной, даже строгой. Смотрела в землю, всецело углубившись в свои мысли. И только от времени до времени изменчиво хмурился ее лоб.

Вышли за околицу. Думал, здесь скажет: прощай. Нет, она вела напрямик к тракту. Она беспокоилась, чтобы я не уклонился в сторону, и пошла со мной дальше. Опять молчание. Напряженное, тягостное молчание. Почему-то никто из нас не решался нарушить его.

Оглядываюсь — забрели довольно далеко. Остановился, а она:

— Видите вон гот овражек? Туда доведу и... будет.

Пришлось согласиться. Очевидно, это было ей приятно. И еще с полчаса мы упорно молчали. Наконец — длинный коленчатый овражек. Один бок (обрывистый) зарос густыми кустами, а другой, косой, голый — в степь. Садимся на краю.

Объясняет мне дорогу. Теперь уже совсем близко.

— Ну, будьте счастливы,— говорю.

— Не уходите...

— Как же так?

— Не уходите, слышите? Оставайтесь жить у нас. У меня...

Я удивленно поднял голову, и вдруг — не знаю, как это случилось,— уста в уста, крепко, горячо.

Один поцелуй, но такого никогда не будет.

— Не уходите!..

Я пожал ей руку, пошел. Через несколько шагов обернулся — стоит неподвижно.

— Мы еще увидимся! — крикнул я, стараясь придать голосу веселый оттенок, хотя, признаюсь, меня охватывала легкая грусть. «Все понять — все простить», и мне было жаль этого немного взбалмошного человека...

Да, друзья мои... Начинаю спускаться с оврага. Тропинка крутая, путаная. Хватаюсь руками за кусты. И все время так и тянет остановиться, словно невидимой силой удерживает прикосновение ветвей. Да... Открывается передо мной более широкий, не замаскированный поворот. Я сдерживаю шаг, хочу оглянуться в последний раз, и в этот момент: ба-бах! — над ухом. Ба-бах! — вторично. Что за чорт?! Я инстинктивно припал к земле. Пятиться назад? — безумие. Здесь? — расстреляют. Скорее за пригорок! Скорее вниз! И ломая кусты, я ослепью кинулся вниз.

Стреляли из револьвера. Кто стрелял, я и до сих пор наверное не знаю. Вряд ли Анна. По крайней мере, тогда мне показалось, что стрелок правее. Впрочем, стрелок плохой — цель-то у него была, как на ладони.

— Вот и... — Рубич, остановившись на минутку, жадно допил свою кружку.

Мы, Красовский и я, тоже подняли свои кружки, но взгляды наши невольно были прикованы к чуть побледневшему лицу Рубича, и некоторое время мы сидели молча, почему-то не решаясь отпить.

Одесса—Харьков 1926.

ЗЯМА

Я давно растерял их — горячих, отважных, молодых.

Пошли в ночь, а дошли ль до рассвета — не знаю.

Теперь я часто вспоминаю их, вспоминаю глухой уездный городок, и передо мною, как живой, вырастает Зяма.

И когда на дворе осенняя слякоть, а над домами треплется флаги, я почему-то так ясно вижу этот далекий городок, вижу, как по задворкам бродит с клюкой в руках старая Рухеле и тоненьким голосом монотонно тянет:

— Ты ж, моя Зя-а-мочка... Ты ж, моя лю-у-бочка...

Так она затянула на следующий день после ареста Зямы, и с той поры никто от нее ничего другого не слышал.

Зяму я знал с детства. Тогда еще, помню, его на улице дразнили «сосуном», и нам, сорванцам, немало попадало от его матери. Я был с ним очень близок (мы вместе учились у жестянника), и, помню, хоть пьяный мастер часто подчивал

его ремнем, Зяма никогда не протестовал и не плакал,—только низко-низко опускал голову. Вскоре он бросил мастера, повертелся еще с полгода «мальчиком» в местной парикмахерской и, в конце концов стал учеником известного местного музыканта Герша Крома.

Знал я его и позже, уже взрослым, когда Зяма в местном оркестре вел первую скрипку, и старая Рухеле всем соседям протрубила уши о своем талантливом сыне.

У нас в кружке его любили как хорошего товарища, уважали как лучшего между нами знатока революционных теорий, и одного только не могли ему простить: трусливости. У всех почему-то сложилось мнение, что он трус.

Открыто об этом не говорили, но серьезных поручений ему не давали.

И вдруг на одном заседании Зяма запротестовал. Он настойчиво требовал, чтобы дело с литературой было поручено именно ему.

Кто-то из товарищей пошутил:

— Зямка, голубчик, как же ты пойдешь? Да ты ведь собак боишься.

Помню, Зяма сразу покраснел, рванулся будто в драку, а затем, неловко втянув шею и потупив глаза, тихо сказал:

— Ничего... ничего...

Это произвело впечатление. Он всегда был сдержанно-спокоен, и никто от него такой выходки не ожидал.

Пробовали подойти иначе, но Зяма был непреклонен. Он привел такие убедительные доказательства, так логично обосновал необходимость своего участия, что, наконец, большинство согласилось с ним.

Зяма счастливо усмехнулся:



— Ничего... ничего...

А через несколько дней мы, как воробьи из-под стрехи, разлетелись во все стороны.

Мы тогда были еще слишком молоды, и слишком неожиданно все это случилось. Да и кому бы пришло в голову, что Зяма, тихонький худошавый музыкант, Зяма-трус, попав с агитками в руки городовому, мог выхватить у этого городского наган и стрелять в него?

Зяму арестовали.

Позже, глубокой осенью, я тайком проходил уездный городок.

Был серый день. Городок, раскисая под дождем, совсем притаился, съежился, будто ждал в тревоге, что вот-вот по главным улицам лавой потечет грязища.

И тогда на задворках я увидел мать Зямы. Она болтала клюкой в луже и тихонько тянула:

— Ты ж, моя Зя-а-мочка... Ты ж, моя лю-убочка...

Я подошел, спросил, но она и головы не подняла.

Так навсегда и осталось: серый день, дождевая пыль, и старая Рухеле над лужей с клюкой в руках...

Пролетели годы.

На севере утихало, а на Украине разгоралось.

Бурею надвигался запоздавший Октябрь, разбрасывал зарева. Вихрем — дни.

И тогда случайно встретились мы с Зямой.

Я не узнал его. Мешковатая сутулая фигура, лицо, густо заросшее, а в глазах вместо прежней спокойной сосредоточенности беспокойные огоньки горячности.

— Ну что? — не нашелся я от радости.

Он заморгал глазами и так же, как когда-то, тихо ответил:

— Ничего...

Несколько минут мы стояли, как вкопанные.

Словно ни тюрьмы, ни ссылки не было, словно это было в том же далеком уездном городке несколько лет назад, и кто-то из товарищей подшутил над худощавым трусишкой-музыкантом.

— Зямка? — не утерпел я, широко взмахнув руками.

— Ты.... жулик... — нежно-взволнованно потянулся он ко мне, — все, что мог он тогда сказать.

Вспомнили прошлое. О матери он еще ничего не знал. Я не хотел огорчать его, сказал уклончиво:

— Видел как-то... Живет помаленьку... Все надеется...

У Зямы чуть заметно задрожала нижняя губа, и, неловко поглаживая пуговицы на своей шинели, он перевел взгляд куда-то вдаль.

Вихрем дни. Дни, ночи — все вверх дном, не разберешь...

Нас, пьяных от радости, от угара восстаний, закружило в водовороте, понесло быстрым потоком. Где-то трещали коряги, все преграды, размывало берега, разрушало плотины, запруды, все преграды, — с дороги, под ноги!

— Симфонию, ух, какую симфонию писать!.. — усмехался восторженно Зяма.

И однажды бросило нас цепью вдоль полотна железной дороги.

Шел бой.

Зяма лежал вдали и не видел, что я, легко раненый в ногу, ковылял с товарищем к ближайшей будке.

Мне едва успели промыть рану, как зачастило-зашелкало над крышей, и в разбитое окошко я заметил, что наши отходят.

— Скорей! — хватая винтовку, заорал я на товарища и старую сторожиху, обматывавших мне ногу каким-то тряпьем.

И в это мгновение распахнулась дверь, на пороге вырос бледный Зяма.

— Ты? — крикнул он, и, прицеливаясь прямо в меня, скомандовал: — Брось оружие!

Я растерялся. Бухнул выстрел. Посыпалась штукатурка. И я невольно поднял руки вверх.

— Ты!.. — рассвирепел он, переступая через упавшую в обморок сторожиху, но, взглянув на мою ногу, виновато заморгал глазами.

— Зямка, что ты?

— Прости... Я думал... что ты спрятался, — болезненно провел он рукой по мокрому от пота лицу.

— Как же ты мог? Ведь ты же меня знаешь?

— А чорт его знает... — смущенно сказал Зяма, потупился и вполголоса добавил: — Теперь и от твоему родному не поверишь...

Летели огненной метелью дни и ночи. Дни и ночи спотыкались, опрокидывались, дыбились, снова летели...

Стонала земля.

Была ночь, которой не забыть.

Земля гудела, колебалась под ногами, а над нашими головами и над городом неустанно и яростно ухало.

Противник тогда не на шутку обозлился. В наших руках еще оставалось предместье, а ему,— пепел, развалины, на день или на час,— ему было все равно,— лишь бы взять. И без конца надвигались новые и новые отряды, обходили со всех сторон, сжимали смертельным кольцом.

Мы с Зямой лежали рядом во рву, машинально припадая к прикладам раскаленных винтовок, и тогда он попросил меня:

— Если что-либо... понимаешь?.. матери не говори... Пусть надеется.

Зяма будто предчувствовал: едва мы начали отступать, винтовка выскользнула из его рук, и он пополз на четвереньках.

— Зямка, что с тобой?

— Грудь...— простонал Зяма.

Я подскочил, насильно бросил его на первую встречную тачанку, но на повороте лошади внезапно бряцнули копытами и тачанка опрокинулась.

Мы столкнулись с левым флангом противника. Рота, отстреливаясь, отходила дальше. Надо было спешить, чтобы избежать западни.

И тогда Зяма резким голосом окрикнул меня.

Я на минуту остановился, нагнулся. Передо мною задергалось искаженное ужасом лицо, из уст его вырвалось хрипло:

— Убей меня!.. Чтоб не мучился...

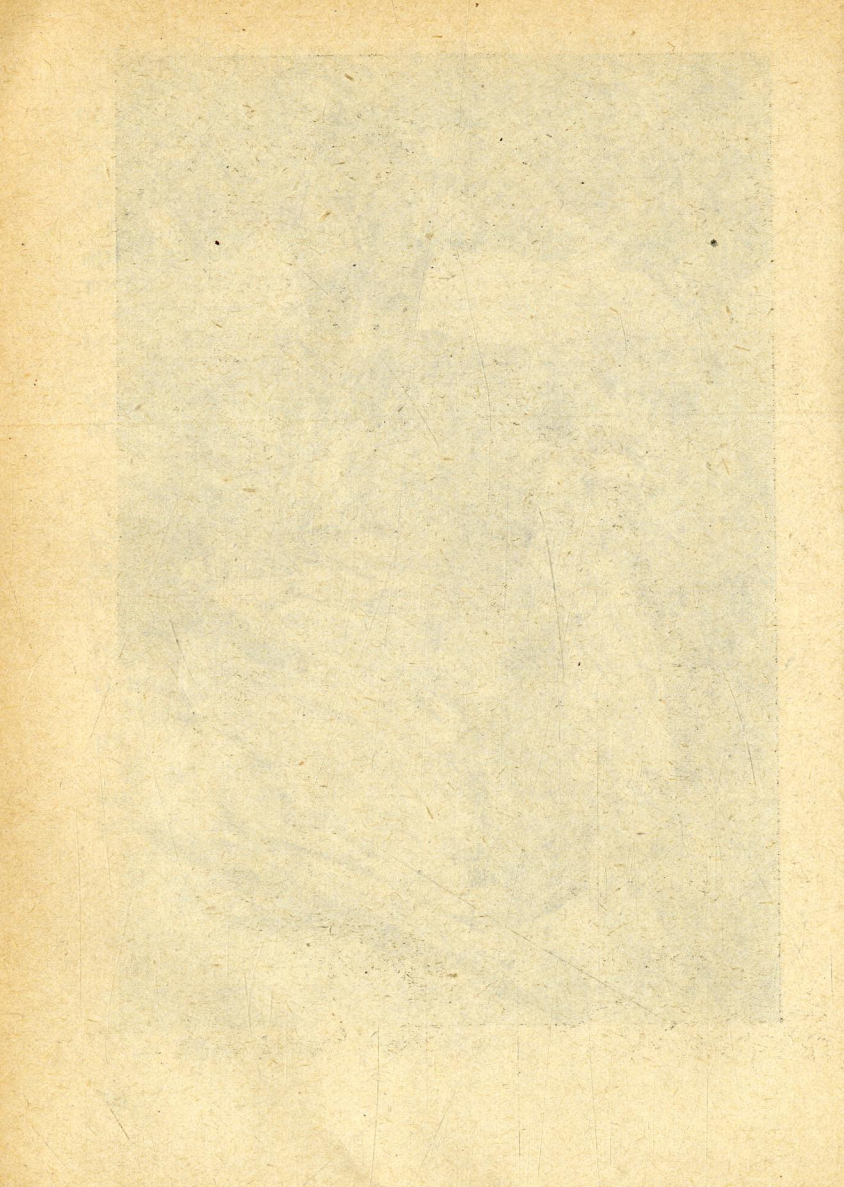
Я отшатнулся.

— Убей меня... Живым не хочу... Я — жид. Они жидов живыми не берут...

И только я отбежал на несколько шагов, снова вопль сзади. Оглянулся — за мной следом полз Зяма и стонал:

— Убей меня... Убей меня...





Наша цепь была далеко. Многочисленный противник упорно наседал с правого фланга, и кучке повстанцев, бессменно сражавшихся вторые сутки, было уже не до раненых.

Мы вдвоем оставались под перекрестным огнем.

Мысли мои взвихрились, рассыпались — не соберешь.

Что делать?

А он обхватил мои колени, и в сердце остро пивался уже бессознательный, дикий хрип агонии:

— Убей меня... Убей меня...

Тогда я решительно нажал курок:

Так!..

И огненная нить пришила его к земле.

Харьков, 1924.

„НЕЧИСТЫЙ“

Это было осенью.

Мы с Антоном возвращались из командировки в свою часть, расположенную в глуши Подолии. От железной дороги до первого села доехали на подводе, а дальше пришлось идти пешком: все подводы с продналогом.

— Вы махните напрямик,— посоветовал нам шустрый дедок у околицы,— это недалечко... Вот так прямо через овраги, немного лесом, а там в долине и село будет. А оттуда уже рукой подать... Вот так...

Послушались. Прошли овраги, и только под вечер раздвинулись рыжие лохмотья леса, а за ними змеей изогнулся ров. Дальше плыли голые жнивья, и сразу трудно было разобрать, дымит ли село вечерней мутью или в долине стелется полосами туман.

Пошли рвом. Сбоку неотступно теснился лес, и чем сильнее сгущались сумерки, тем ближе надвигалась влажная стена деревьев, крепче пахло прелыми листьями.

Только шуршал бурьян.— А так — тишина. Из лесу выплывала луна, темная, задумчивая, колыбалась над межами, терялась в полях...

— А-а-а! — внезапно из темной дали долетел к нам стон.

— Опять кого-то режут? — остановился Антон. Он сложил руки рупором, крикнул изо всех сил:

— А-тю-у-у!

Эхо пронеслось, залегло в чаще. Опять тишина.

— Может быть, бандит какой?.. Ну, поймал бы я тебя!.. — выругался он и сердито перебросил винтовку на другое плечо.

Уже с час назад слышали мы этот странный стон, несколько раз то вблизи, то издали вспугивавший лесную тишь. Но не это раздражало Антона. Я понимал его: наше путешествие затянулось, начальство будет упрекать. Да и нам самим давно уже хотелось отдохнуть.

Начались огороды — село.

— Остановимся на ночь в первой же хате. Ладно?

Было совсем темно, когда мы подошли к плетню. Откуда-то из-под хлезов сорвался юркий клубочек, неистово заверещал. Ему с другого конца усадьбы хрипло ответила овчарка, подхватили еще несколько, и по всему краю села рассыпался однообразно-долгий лай.

— Какая там нечистая сила толчется? — крикнул с порога хозяин.

— Мы, дядько...

— Тю! Да где же это видано — ночью, огородами?

Рассказали. Он подозрительно оглядел нас, покосился на винтовки, почесался.

— Нет, — сказал погода, — идите себе, хлопцы, куда знаете, а я не тово... Теперь, извините, всякий сброд тут шляется... кто его знает... Идите в сельсовет,

— Да вот документы, смотрите.

— Да что документы? Не надо...

На собачий лай заскрипели двери соседней хаты, и к плетню осторожно приблизился длинный силуэт с палкой. К счастью, это был представитель сельской власти. Расспросив нас, он подошел к окну и долго расправлял на ладони наши удостоверения. Затем, нето советуя, нето извиняясь, предложил хозяину пустить «гостей» на ночь.

— Вот не было печали... Ну что ж, идем, коли так...

Хозяйка тоже была не очень довольна нашим появлением. Слишком уж грохотала она ухватами в печи, слишком зло поглядывала на нас и исподтишка так едко ворчала на мужа, что тот, наконец, не вытерпел:

— Да не шипи, Одарка... Словно тигра.

За ужином разговорились. Одаркин брат тоже служил в армии, но уже больше года от него не было никаких известий. Его оплакивали как погибшего. Мы посочувствовали. Постепенно отношение к нам начало меняться. Говорили долго. Говорили о самом больном — о революции и продналоге. Потом перешли на сельскую жизнь с ее мелочами.

И вот тут уже Одарка откровенно развязала язык. Досталось тут всем: и комитетчикам, и «бандистам», и живым, и мертвым.

Наконец, увлекшись разговором и ссылаясь на «знак божий», она таинственно сообщила, что в селе сейчас неспокойно: вчера, мол, явился «нечистый», который всех передушит.

— Вот дожились!.. Господи, и что это будет...

Мы с Антоном переглянулись, невольно рассмеялись.

Хозяин низко опустил голову. Чувствовал себя

неловко. А хозяйка возмущенно замахала руками и зачастила:

— Ишь, умные какие! Да вчера же вечером Митрофанову Килинку на лугу поймало!.. Неживая домой прибежала. Вся в крови, в синяках... Теперь лежит, такое рассказывает, что не приведи господи!..

Я вопросительно взглянул на хозяина. Он пожал плечами и нехотя ответил:

— Да кто его знает... говорят...

Мы опять улыбнулись. Наше поведение, видно, не понравилось. Разговор на этом прекратился. Молча, свернув папироски, мы встали. Хозяин натянул свитку¹, взял палку и пригласил нас в овин.

Мы охотно согласились: в хате было слишком душно, туманил голову кислый запах пеленок. Но на дворе хозяин шопотом объяснил:

— К нам, бывает, всякий народ заходит. Сами знаете... как бы чего не случилось. На сене лучше, да и лошадей мне постережете...

Разместил нас, нащупал в задней стене маленькую дверцу, отодвинул задвижку на ней и предупредил:

— А вот это вам на всякий случай... прямо в лес...

Мы остались одни. Шаги прошуршали по двору, затихли.

В темноте мы обменялись мыслями. Из всего было видно, что или в самом деле беспокойно на селе, или же нас принимают за бандитов. Уже начали жалеть, что сразу не пошли в сельсовет. Антон послал тысячу чертей по адресу шустрого деда, направившего нас оврагами, напрямик. Я выругал Антона за то, что он послушал деда и

¹ Свитка — род армяка.

меня соблазнил блуждать. А в конце концов пришлось со всем примириться и только удвоить осторожность.

Легли в разных углах — я возле дверцы с задвижкой, он у ворот. Винтовки положили под себя.

Я закрыл глаза, но сон охватывал меня медленно.

Вокруг густо пахло разбухшей землей и сеном, напоминало луг, речку, далекое детство... Из минувшего медленно, одна за другою, выплывали картины, путались с действительностью, действительность тонула в фантастике, и — не помню, какие страны я успел пролететь, но только уже шумело в неведомых берегах неведомое море и с высокой горы катилась на меня гроыхающая глыба.

Еще миг — упала на грудь, придушила. Сердце остановилось.

Хотел крикнуть, но волна захлестнула рот.

Рванулся, взмахнул руками по воде — вода жесткая, колючая, точно сено.

Мелькнула мысль: лежу навзничь, кровь бьет в голову...

И только хотел повернуться, как кто-то еще сильнее навалился на грудь, схватил за горло.

Сквозь открытые в лес дверцы уже вползала свежесть рассвета.

На момент я оторопел. По всему телу, словно кто-то прикоснулся липкими пальцами, пробежала дрожь.

Шевельнуться я не мог, голос подать тоже не мог: кто-то одной рукой судорожно нащупывал и сжимал мне горло, другой старался сломать мое сопротивление и глухо сопел, обдавая меня горячим дыханием...

Так — минута...

Наконец мне удалось напрячь все силы, и я с размаху ударил его под ребро. Он болезненно застонал и дрогнул, ослабив пальцы на горле.

Я крикнул.

Но в это время он снова всей тяжестью упал на меня, впился зубами в мою щеку, и мы покатились тесным клубком...

Припоминаю только, как перед самыми глазами по голове неизвестного несколько раз проехался приклад винтовки Антона. Человек разнял железные тиски рук, и на губах у него забулькала кровавая пена.

Позвали хозяев.

Человека связали, выволокли во двор.

Антон побежал в село.

— Ой, матушки! — крестилась перепуганная Одарка. — Это же нечистая сила!

Хозяин молча ходил вокруг странного человека, разводил руками. Потом вынес из сарая дерюгу и прикрыл его до половины.

Начали сбегаться люди, — огородами, садами, через плетни — чуть ли не вся околица. Загудели, теснясь густой толпой. Лезли на плечи, на головы, — хоть бы одним глазом взглянуть. Осторожно наклонялись, разглядывая со всех сторон, осторожно ощупывали и недоуменно качали головами.

— Ишь, подумать только!.. Ведь это ж оно слонялось по лесу... Ведь оно бы все село... одного за другим, как цыплят.

Мнения разделились.

Одни упорно доказывали, что это настоящая «нечистая сила»: недаром же она лысая.

Другие пытались убедить, что это обыкновенный лесной бандит.

Поднялся галдеж.

— Приведите Килинку, она сразу узнает!

— Да Килинка лежит больная...

— Ничего, привезть можно. Валяй, паренек, к Митрофану.

Но все споры неожиданно разрешил какой-то рязкий крестьянин.

Протиснувшись сквозь толпу и пристально посмотрев на лежащего, он хлопнул себя по штанам и радостно воскликнул:

— Тю! Чтоб те пусто было! Да это ж арендатор, пан Яснопольский. Я же у него служил. Знаю... Вот оказия...

Толпа изумленно отшатнулась, притихла.

— Яснопольский? — подхватил кто-то тонким голосом. — Из Воробьевки? Ведь и я его знаю! Тот, что ума решился, когда землю отбирали?

— Он самый и есть.

— Из сумасшедшего дома? Из Винницы?

— Ну да... Значит удрал — надоело...

Толпа снова шумно заколыхалась...

Когда его брали на воз, он уже не сопротивлялся, молчал — только по-волчьи поводил мутно-стальными глазами.

ИЗ ТЕМНОЙ ПЕРЕДНЕЙ

Рано утром Ян спустил ноги со своей койки, лениво позевывая, обвел взглядом полутемную переднюю заводской конторы и прислушался — как будто постучали со двора.

Вошла его жена Климця. Принесла из поселка еду и мешки.

Только теперь Ян вспомнил, что сегодня суббота и что он уже две недели не был дома. Климця пришла с мешком — значит сегодня надо нести домой уголь.

Ян поморщился, поскреб щеку и буркнул:

— Садись.

Каждый раз, когда приходилось ему украдкой переносить домой уголь, Яну становилось как-то не по себе. Иногда пробовал отказываться (могут, дескать, поймать), но Климця всегда уверенно говорила:

— Да что ты, старик?.. Точно тебе впервой?.. Пронесешь как-нибудь... Или, может, жалко, завод обеднеет? — и, понурившись, негромко добавляла: — Надо ведь.

Ян и сам знал, что надо, потому что углем не страшно разводить аппарат: дыму нет, да и напиток получается чище и без «душка».

И хоть он и колебался, но в конце концов все его сомнения побеждала одна мысль: теперь, когда завод считается народным достоянием, в самом деле не следует ограничивать себя. Не грех бы для таких хозяев, как большевики, и весь завод с дымом по ветру пустить, не то что мешок угля взять...

Ян скомкал мешок и сунул его в угол под лестницей.

— Ну, что там дома? — спросил угрюмо.

— Да что дома?.. Все то же. Белья я тебе не принесла, придешь сегодня, так переменишь, — озабоченно сказала Климця, завязывая узелок.

— А Зоська как? Смотришь за ней?

— Зоська?.. Разве она тут не была?

— Нет. А разве и она с тобой?

— Ну да... Верно, забежала куда-нибудь. Тоже сокровище... Здоровенная девка, что твой солдат, а все ветер в голове...

— А разве что-нибудь?.. — насторожился Ян.

— Избаловал ты ее, вот что... Как же, единственная дочка! — с раздражением покачала головой Климця и направилась к дверям.

Ян хотел ее остановить, хотел еще спросить о дочери, но сказал только с мягким упреком:

— И чего вы так рано поднялись?

— Рано? Может, работы мало? Четыре руки — и то не справляемся, — бросила уже с порога.

Ян посмотрел ей вслед, провел ладонью по лицу и, подтянув ремешок на брюках, поплелся в контору. Был он еще довольно крепок, хотя уже перевалило ему за пятый десяток. Только спина немножко согнулась — горб.

В конторе, как всегда, начал обходить все столы и вытирать пыль. На одном столе сдунет что-

то, на другом небрежно смахнёт тряпкой раз-другой, словно мух сгоняет.

Так каждый день, пока никого не было, топтался он с тряпкой в руках, передвигал стулья, столы, бормотал что-то, окидывая привычным взглядом комнату,— все ли в порядке.

От тряпки поднялась пыль, и из окна, через комнату, протянулся золотой столб. Ян на минутку остановился перед ним, засмотрелся, как танцевали тысячи чудесных пылинок, и ему вспомнилось что-то далекое, грустное. Показалось, что когда-то уж было так, или это приснилось? Вот так же стоял он в золотом столбе рано утром. Только было что-то еще, что-то очень хорошее — трудно припомнить.

А за окном звенела весна. Была та пора, когда в заводском палисаднике цвел жасмин, сладкой и смутной печалью переполняя грудь, а по ночам над заводом и над поселком в неистовых трелях захлебывались соловьи.

Ян открыл окно. Повеяло бодрящим утренним холодком и густым ароматом цветов.

За палисадником, далеко во дворе стояла кучка людей. Среди них в кожаной куртке и такой же кепке — председатель завкома, Савка Безулый.

Ян сразу изменился в лице — узнал Савку.

— Ишь, кожаный чорт,— сердито проворчал он,— спозаранку на ногах... словно настоящий хозяин.

Он только что повернулся, чтобы поскорее убрать в завкомовской комнате, как внезапно затрещали кусты. Бросился к окну — в палисаднике два парня торопливо общипывали жасминовые ветки.

— А ты куда? Я т-тебе! — крикнул Ян, замахиваясь тряпкой.

Парни стрелой метнулись через забор, и один из них, высунув язык и скорчив рожу, возмущенно прохрипел:

— У-у... Бар-р-бос!

Потом, отбежав немножко дальше, оба залились смехом.

Ян хлопнул окном. В другое время он проучил бы их, знали бы, висельники, как смеяться над старшими. А теперь...

— Тронь их только, теперь же «слабода», — сварливо-иронически покачал головой и пошел в комнату Савки.

Сурово ошетилив усы, он махнул несколько раз тряпкой по шкафу, потом остановил свой взгляд на легкой усмешке Ильича, склонившегося над столом, задумался, словно разжевывая какую-то неясную мысль, и вдруг торопливо принялся за работу.

Не любил Ян этой комнаты. Даже больше: ненавидел ее. Он видеть не мог председателя завкома, того самого, который когда-то бегал пастушонком в одной рубашке, без штанов. Когда-то Савка обращался к Яну (а Ян был солидным панским кучером) не иначе, как «дяденька». Теперь Савка восседает в этом кабинете на месте прежнего хозяина и говорит Яну:

— Товарищ...

«Какой я тебе, к чортовой матери, товарищ? Может, вместе свиней пасли? А может, из памяти выпало, как я тебя ремнем потчевал за яблоки из директорского сада?» — часто думал Ян.

Он не мог забыть: когда началась революция, Савка угрожал ему наганом, требуя, чтобы он открыл директорскую конюшню, и потом, при всем народе ударив его по шапке, пригрозил:

— Погоди, пане Яне, мы с тобой еще поговорим...

И поговорил... На другой же день уволили Яна с должности кучера. Натерпелся он невзгод, пока упросил, чтобы взяли его сторожем в контору.

Правда, все это случилось несколько лет назад, стерлось с памяти, уплыло с быстрыми днями, но обида горьким осадком залегла в Яновом сердце. Уж слишком он был горд: прежде его все уважали, и сбить с себя шапку он даже эконому не позволил бы, не то что какому-то «молокососу» Савке.

Теперь, присматриваясь ко всему, что творилось вокруг, он только плечами пожимал и никак не мог понять и привыкнуть.

Окончив уборку, Ян вернулся в переднюю. Вытащил из угла ведро, умылся, железным гребешком старательно расчесал рыжевато-седые липкие волосы на голове и пышные с бакенами усы. Это давняя привычка у Яна. Еще с тех времен, когда был он казачком, а потом кучером. Привычка, из-за которой его и до сих пор, поддразнивая, называли «пан-Яном». Да, что бы там ни говорили, как бы ни посматривали искоса, он знал одно: чистому шляхтичу всегда больше уважения, а неряшливой «шантрапе» всегда завидно смотреть на чистого. Потому и в праздник обязательно надевал он гуттаперчевый воротничок и старательно натирал ваксой сапоги.

Перекрестившись на угол с паутиной и прошептав короткую молитву, он наконец, вынул из мешка завтрак и медленно, не торопясь уселся в широкое старинное кресло с протранным дном.

Это кресло он раздобыл себе сам. Приволок его в переднюю из заводского сарая, где оно валялось среди всякого хлама, и хотя из кресла выле-

зали вместе с мочалой голые пружины, он ревниво оберегал его, словно какую-то драгоценность, и никому не позволял на него садиться. Разве только его старуха, пани Климця, зайдет из поселка или волчком вскочит дочка, веселая Зося,— им можно.

Вспомнил Зосю... Зося! Что-то он стал за ней примечать... Ну, да кто ее знает... Может, только так показалось.

С темной передней и с креслом он давно освоился, даже привык к ним. Он ведь здесь жил, только время от времени наведываясь в поселок. Да к тому же пахло от них знакомой незабытой стариной.

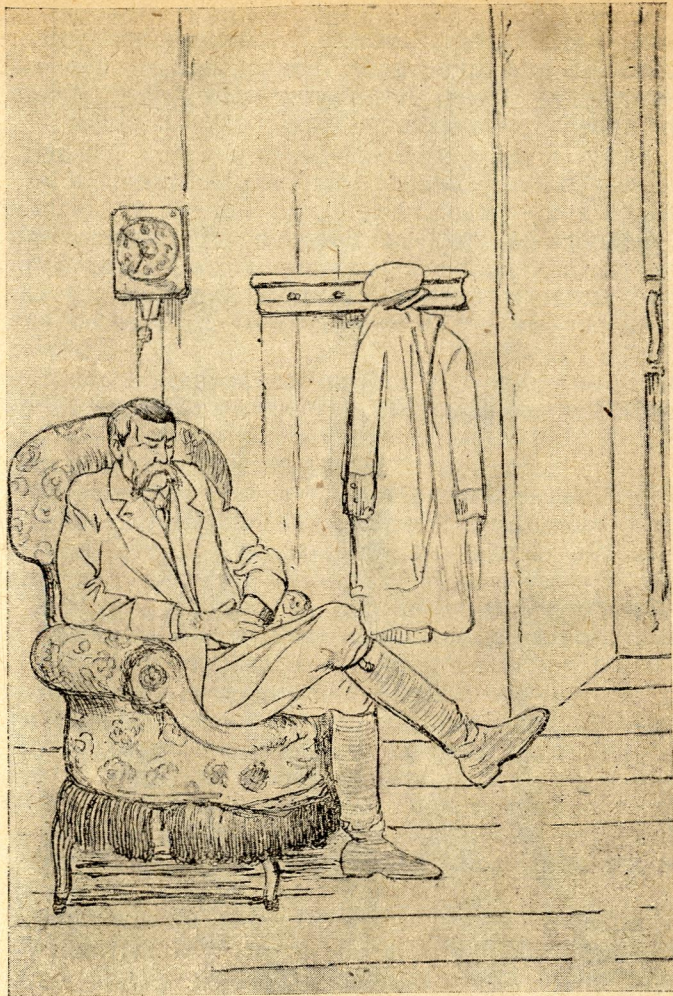
За дверями, за окнами катились быстрые, радостные дни. Там пела победно жизнь, там проплывали шумные, расцвеченные манифестации и гремели гимны, а он, словно паук в углу, сидел в темной передней, осторожно прислушивался, с досадой качал головой.

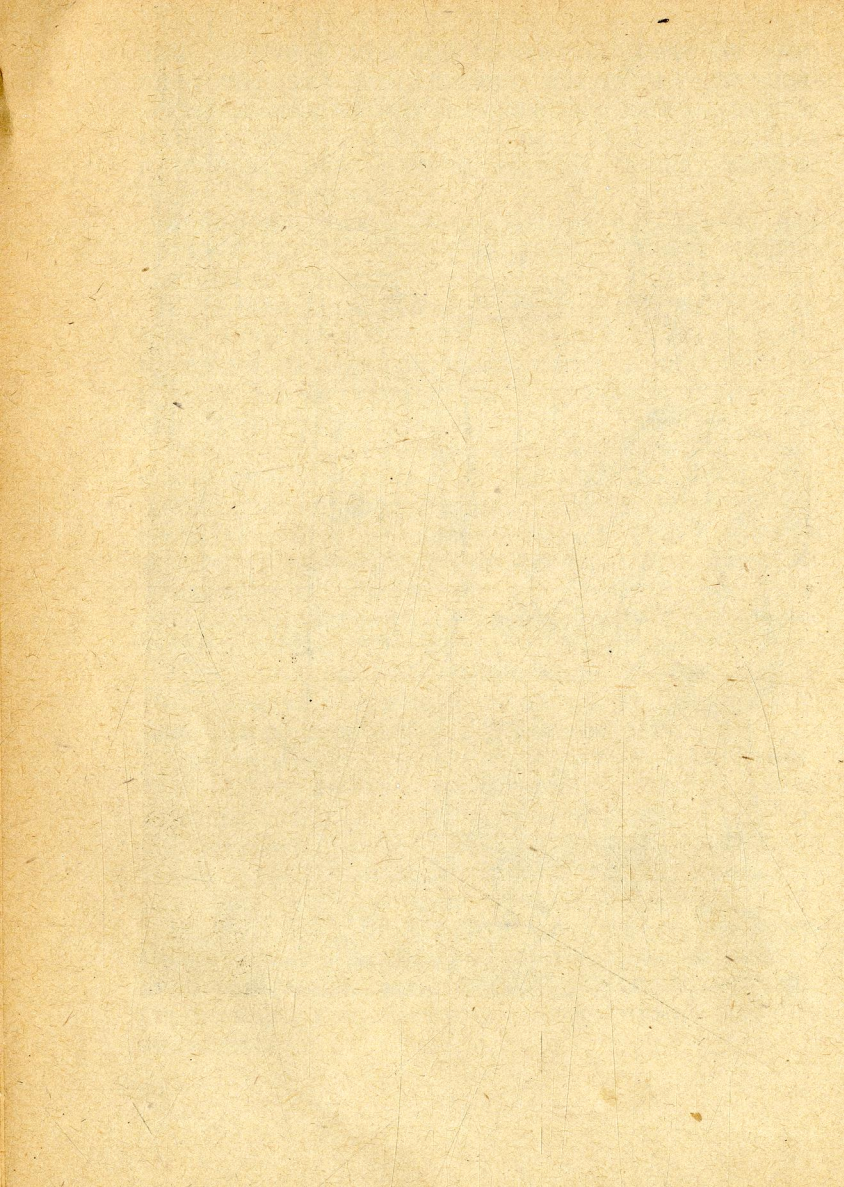
— Вот кумедианты!— говорил он. И когда все это кончится?

После завтрака Ян машинально потрянул кистом, свернул толстую цыгарку из конторской бумаги. Под порыжелыми, красноватыми от дыма усами зашипел огонек. Серенькие глазки спрятались в щелочки, и все лицо утонуло в синем сладком дыму.

Начинался рабочий день. Все чаще скрипели двери—надоело уже. Так вчера, так позавчера,—изо дня в день так...

Еще издали Ян узнавал каждого по походке. Некоторых он нарочно не замечал, иным приветливо говорил «доброе утро» и открывал дверь. Он хорошо знал, кому и сколько нужно уделить внимания.





Вот слышались Савкины шаги, и Ян тотчас же повернулся спиной, делая вид, что он очень занят: пусть, мол, начальство знает, что сторож на месте, но от такого начальства лучше по-дальше.

В контору теперь шли веселее, чем обычно, и выглядели все как-то свежее. Почти все в белом. Конторские сотрудницы с цветами на груди и в прическах,—вертявые, оживленные. Даже бухгалтер, черствый, хмурый старичок, проходя сегодня через сени, мурлыкал себе под нос какую-то песенку.

Весна действовала и на Яна. Невольно овладевало им хорошее настроение. Какое-то ласковое спокойствие словно растворяло застарелую враждебность, и он чувствовал себя добрым.

За дверями в конторе пощелкивали уже счеты, горошком рассыпались машинки, и над всем этим шумом стояло приглушенное гудение рабочего дня.

А через полутемную переднюю все проходили и проходили суетливо-озабоченные люди. Они как будто не замечали Яна в глубоком кресле. Они равнодушно сновали мимо него.

Ян из-под своих нависших бровей так же безучастно смотрел на них, довольный, что его не беспокоят. И не хотелось ему думать ни о чем. Разве только о прошлом... Он отдыхал душою, когда мысли его уносились в далекое былое. В такие минуты теплая радость разливалась в его груди.

Вернется ли оно? Вернутся ли опять спокойные, сытые дни, когда не нужно будет дрожать над каждым грошом, а Климя опять будет печь вкусные блины и ставить к обеду шкалик, когда все его будут уважать и никто не посмеет ска-

зять ему «барбос»? А Ян нарядится в разукрашенный жупан и, выйдя на площадку перед конюшней, где хлопцы манежат резвых коней, закрутит усы и рявкнет на весь двор:

— Жарь кнутом, а то не дам кандьору!¹

Или вылетит на четверке в степь, на смерть пугая встречных, а паничи только хохочут сзади и похлопывают его по спине: «Ай да Янек!..»

— Товарищ,—высунулась из конторы голова «входящего»,—завком зовет.

И дорогие воспоминания оборвались.

Ян замигал глазами, засуетился, пошел.

— Здравствуйте, товарищ Ян,—просто и вежливо, по своей привычке, поздоровался Савка.

— Драс...—буркнул Ян понуро.

Ему стало неловко.

— Отнесите, товарищ, это письмо в клуб и сейчас же возвращайтесь с ответом.

Ян машинально заковылял к дверям.

В клубе, находившемся на другом конце завода, несмотря на рабочее время, было шумно. Стучали молотками в стены—что-то прибивали. Молодежь оживленно сновала с флагами, с еловыми ветвями.

— Что тут у вас такое?—иронически прищурив глаза, спросил Ян у первого встречного парня.

— Сегодня будут красные крестины.

— Крестить, значит, будете?—усмехнулся Ян:—Попами, стало быть, заделались?.. Ну и дела...

У выхода с любопытством заглянул в открытую залу, где шумела молодежь, и отшатнулся, пораженный: среди девчат, которые плели гирлянду, сидела на полу его Зося. Пригляделся вниматель-

¹ Кандьор — жидкая кашица, которой обычно у помещиков кормили «челядь».

нее,— да, это она, его золотоволосая Зося, в пестренькой блузочке.

— Зося! — окликнул ее Ян.

Стучали молотки, стоял вокруг веселый гул, и она, должно быть, не услышала.

— Зоська! Проклятая девка! — крикнул он еще громче, но девушку совсем заслонили.

Ян вспомнил, что Савка ждет, и махнул рукой. Решил потом поговорить.

Всю дорогу до конторы думал он о дочери и никак не мог взять в толк, почему она до сих пор вертится на заводе, да еще в клубе, да еще в субботу, когда и дома работы много. И почему не зашла к нему? Верно, побоялась. Солгать не хотела, а помнит хорошо, что он ей запрещает по клубам ходить.

Это Яна встревожило. Зосю, свою драгоценность, он любил больше всего. Он ее считал своей неотъемлемой собственностью, на которую уж никто кроме него не имеет права, и ревниво оберегал ее.

Передав Савке ответ, он вернулся в переднюю, но сидеть в кресле уже не мог. Дрожали руки, когда свертывал цыгарку. Торопливо выкурил, бросил в угол и тут же вспомнил, что в углу лежит заготовленный для угля мешок, который может загореться. Бросился к мешку, затоптал сапогом. Потом осторожно развернул, осмотрел, не прожгло ли в самом деле, и с раздражением швырнул под лестницу.

Уголь, Зося, Савка — все смешалось, закружилось, поплыло...

Ян замечал уже с некоторых пор, что Зося отбивается от рук, но успокаивал себя тем, что Зося молода — хочется ведь ей погулять. Но все-таки — неужели она...?

Темное подозрение копошилось под сердцем, закрадывалось все глубже и глубже...

И опять Ян в кресле.

Растерялся. Задумался.

Окликнули его — он вставал, оглядываясь недоумевающе, словно со сна, а потом, вернувшись, опять садился в кресло и думал.

День пошел на убыль, и в темную переднюю прокрался несмелый луч.

Свернуть бы еще цыгарку, да затянуться так, чтобы... Вдруг из конторы с бумажкой в руках выскочила Зося. Он удивленно раскрыл рот.

— Когда же это ты прошла, что я и не заметил?

— А вы, верно, подремывали... Я с народом — вы и не заметили.

И Зося, сунув бумажку за пазуху, стала перебирать пальцами букетик цветов, приколотый к блузке.

Была она статная, подвижная и, как казалось Яну, красивее всех. С нежностью взглянул на нее. От быстрых глаз, от золотистых прядей, выбившихся из-под косынки, от сочного разреза темных губ пахнуло на него сегодняшним бодрым утром. Он гордо и счастливо усмехнулся и, кивнув головой в сторону конторы, спросил:

— Зачем ходила?

— Михайлов заболел... Просил, когда буду на заводе, напомнить о нем.

— Когда буду на заводе... А что тебе на этом заводе понадобилось?

Грудь ее взволнованно поднималась, пальцы вздрагивали на цветах. Голову склонила низко и начала тихонько что-то напевать.

Ян покачал головой.

— А что у тебя за бумажка?

— Где?

— За пазухой.

— А... это тоже Михайлову просили из конторы передать.

— Покажи.

— Ну, вот... Все равно не прочтете... На что вам?— и прижала руку к груди.

— Да покажи же.

— Да неинтересно, ей-богу, неинтересно...— смутилась и заморгала глазами.

— Ой, лучше бы ты с Михайловым и дела не имела...

Из-под нависших бровей пристально взглянул на вспыхнувшие Зосины щеки и расправил рукой усы.

— А что там дома?

— Да... ничего...

— Что мать делает?

В эту минуту вихрастая голова парня, который утром ломал жасмины, высунулась из дверей. Узнав в полумраке девушку, парень крикнул:

— Зоська! Иди же! Там тебя ждут...

Зося метнулась к дверям.

И тотчас же, словно сзади подбросило его пружиной, вскочил Ян с кресла.

— Стой!

Зося остановилась за порогом.

— Иди сюда!

— Да мне некогда... Там ждут...

— Иди, говорю!— возвысил голос уже потцовски грозно, но Зося стояла неподвижно.

Тогда он сердито зашипел сквозь ошетинившиеся усы:

— А это что такое? Что это за шваль с тобой за панибрата? А? Чтоб тебе на моих глазах вот

такие сопляки кричали «Зоська», как какой-нибудь шлюхе?

— Да что вы, тату?.. Ведь это другие позвали...

— Молчи! Какие другие?..

Вихрастый парнишка, стоявший в стороне, вдруг прыснул со смеху и, повернувшись на одной ноге, с шумом побежал к воротам.

Ян вскипел:

— Какие другие, я спрашиваю? Чего по клубам шляешься?— и схватил девушку за рукав.

— Тату, да вы в уме? Перестаньте, а то убегу...

— Убежишь? Скрываешь что-то? Я т-тебе покажу!

Негодование и ревнивая подозрительность овладели Яном. Он уже не мог себя сдержать.

— Покажи бумажку!

Девушка испуганно, с отчаянием взглянула на отца. В глазах ее вспыхнул огонек. Скрестила руки на груди и твердо сказала:

— Не дам.

Ян вне себя встряхнул ее раз, еще раз. Зося вскрикнула, но больше не сопротивлялась.

Минуту спустя Ян уже разглаживал у себя на коленях измятую бумажку и нетерпеливо всматривался в большие заглавные буквы. Напрягая все внимание, призвав на помощь все свои познания, он после долгих усилий прочел: «Анкета». А дальше было написано так мелко, что и не разберешь. Дать кому-нибудь прочесть он не решил. Долго и упорно смотрел в потолок, прищулив глаза, словно хотел что-то вспомнить, и в конце концов беспомощно развел руками.

Измятая бумажка дрогнула в руке... Разорвал бумажку, бросил на пол. Стало жаль девушку. К самому себе возникло чувство гнетущего отращения.

Тяжело вздохнул, насупился. И уже до конца рабочего дня, пока все не разошлись, ходил словно в воду опущенный.

Когда контора опустела, он почувствовал облегчение. Наконец-то он остался один со своими тревогами и мыслями! Он усердно принялся за работу.

Работы было не слишком много — подмести да вытереть пыль, чтобы в понедельник притти уже на готовое, но он топтался по всем углам, осматривал каждую мелочь, всем столам поровну уделил внимание и все чернильницы вымыл. Хотел в работе разбавить горький осадок сегодняшнего дня и в то же время затянуть эту работу до сумерек.

Как только стемнело, Ян запер все двери, ключи передал завхозу и, успокоенный, довольный собой, вышел на улицу.

Мешок сунул подмышку.

Над заводом горели огни, и закопченный каменный гигант, как всегда ночью, казался иным, немножко странным, более суровым, чем днем. В воздухе колыхался насыщенный весенними запахами гул молодых голосов. Из темных закоулков рассыпался беззаботный смех, бодрый и неудержимо звонкий, и замирал где-то в густой чаще заводских садов, — как будто там, где чуть слышно тренькала мандолина.

Ян постоял, огляделся по сторонам и пошел вдоль заводской стены вниз, к самому пруду.

Завод он знал, как свои пять пальцев. Каждую щелку, каждую ямку мог бы найти ощупью. У пруда обошел гнилое болотце с брошенным заржавелым заводским ломом. Юркнул в ров. Подполз к углу, где начинался досчатый забор.

Сзади, на болоте, квакали лягушки. По сторонам

было совсем тихо. Только завод смотрел издали угрюмо и строго.

Ян уже не впервые шел на такое дело. Хотя и сидел он по целым дням в темной передней и как будто ничего не видел, не знал, но на самом деле у него все было рассчитано до мелочей.

Слегка крикнув, он на минутку исчез за забором, словно забор проглотил его, а через несколько минут, сгорбившись, уже нес вдоль того же рва в мешке уголь.

Отсюда до поселка было дальше, зато этот путь был безопаснее. Сегодня он решил сделать крюк, пойти другой дорогой, вдоль берега, орешником, потом по меже прямо к себе во двор. Выбравшись из рва, настроженно прислушался, оглянулся — нигде никого, только издали глухо гудел смотревший с угрюмым укором темный гигант, да над самым ухом квакали лягушки...

За орешником над пригорком разливалось сияние — всходил месяц. Из камышей куделью ползли туманы, обволакивали берег, крадучись, проплывали в степь. Холодок подбадривал, подгонял.

Чудилось Яну, что сзади кто-то следит за ним, притаившись, и он торопился дойти до орешника, пока месяц не поднялся выше. Там, в темноте, он сел под кустом, счастливый, что уже миновал самые опасные места. Так приятно было расправить натруженные мускулы, потянуться. Закрыв глаза...

В памяти выросла Зося. С нею Ян уже готовился поговорить, — долго и нежно; а из первой же полочки решил купить ей в кооперативе платочек в цветах, чтобы не ходила, как эти комсомолки, в опротивевшей ему красной косынке. Если бы деньги, он бы ей много всякой всячины **накупил** и к работе не принуждал, чтобы росла себе спокойно и радостно, на зависть соседям. И

уж никто бы не посмел кричать ей «Зоська», а вежливо говорил бы: «панна Зося». И тогда он непременно просватал бы ее за панича.

Где-то из густой чащи грянул соловей.

Месяц подплыл выше, и в ложбинке между густо разросшимися кустами поползли тени.

Ян поднялся, пошел дальше.

Чтоб не вынырнуть сразу на освещенную полянку, он свернул в сторону, прошел кустарником до самого конца зарослей и здесь только смело ступил на межу. Наискось через полянку протоптали когда-то тропинку. По ней теперь редко ходили, но Ян все-таки решил быть осторожным и шел стороной, крадучись.

До поселка было уже недалеко: минут десять ходьбы.

Вдруг на тропинке — две темные фигуры. Словно из-под земли. Молча, медленно, тесно прижавшись одна к другой, подвигались они навстречу Яну. Еще не заметили его, но уже были так близко, что он слышал шорох шагов.

Ян притаился, присел.

И в ту же минуту громко раскатилось по всей полянке:

— Стой! Кто там?

Он бросился ничком в траву, припал к земле, лежал, не шевелясь.

— Кто там? — опять донеслось с тропинки.

Сердце у Яна на мгновение остановилось, потом застучало часто-часто, и Ян полетел в пропасть.

— Кто это? Вставай! Да ну же, вставай! — сердито произнес над самой головой знакомый голос.

Ян поднял голову. Перед ним, по колени в густом бурьяне, стоял Савка.

— Это вы, Ян? Вы что тут?

Ян молчал.

— А это что за мешок? Ага, уголь...

— Ой, товарищ Савка, не губите,— испуганно закопошился Ян,— не губите, голубчик!.. У меня ведь дети, жена... недостатки, сами знаете... Не губите...

Савка поднял руку, застыл. Потом решительно нагнулся к нему и процедил сквозь зубы:

— Молчи, негодяй!.. Помни, чтоб это в последний раз! Катись! — и ткнул сапогом в мешок.

Ян покорно и поспешно поднялся с земли. До самого дома он уже не оглядывался. Шел быстро. Ноги казались ему чужими, и шагал он, как автомат. Все вокруг было словно в густом тумане. В голове глухо гудело, голова казалась пустой. И когда Климця, услышав его оклик, открыла дверь, собственный голос показался ему тоже каким-то странным, чужим.

— Что это так долго?— спросила Климця.

Яна точно крючком рвануло внутри. С яростной злобой глянул на нее и так стукнул посреди кухни мешком, что с пола поднялось облако пыли и испуганно задребезжала в шкафу посуда.

— Да чего ты, Ян?— спросила Климця тихо и с тревогой подняла на него опухшие глаза.

Все, что накипело в нем за целый день, теперь, казалось, вот-вот прорвется в беспощадном гневе. Но он вспомнил о Зосе и сдержал себя.

От печи тянуло душным теплом. Чистая лежанка была старательно подмазана розовой глиной. В хате стоял запах свежего, еще горячего хлеба. Раздражение Яна понемногу улеглось, он начал молча свертывать цыгарку.

— Умывайся, Ян,— осторожно подошла к нему Климця.

Тогда он неожиданно для себя самого с какой-то невольной дрожью взял ее за локоть и, огля-

диваясь на дверь в соседнюю комнату, боясь, чтобы не услышала Зося, тихонько рассказал обо всем, что с ним случилось. Окончив рассказ, тихо спросил:

— Зося спит?

Климця заморгала глазами и поднесла к носу кончик передника.

— Что такое? Зося спит, я спрашиваю?

— Нету Зоси.

— А где?

— Нету Зоси... Ушла... совсем ушла...

Словно громом поразило Яна — все вокруг покачнулось, затанцевало перед глазами.

— Как ушла?

— Вчера поссорилась со мной, а сегодня на заводе где-то пропадала... да я ведь тебе говорила... Потом днем прибежала и плакала. А вот совсем недавно постучался Савка... Никогда не ходила, а теперь пошла...

— Да что такое? Не понимаю...

Климця бессильно прислонилась к дверному косяку и безнадежно-горько захныкала в рукав.

— Пожалуй, и в комсомол пойдет... Собирается... И Савка навязался, зачастил... Я только боялась тебе говорить, думала — подурит девка да и опомнится...

— Так это она?.. Ага, теперь я все понимаю, — глубоко вздохнул Ян, — теперь все...

Растерянно сел на мешок с углем, низко опустил голову.

— Что ты? — окликнула его Климця.

Он ей не ответил.

Замолчали. Молчали долго. В хате стало тихо, как на погосте. И только где-то в ночной дали величаво и мощно заливались соловьи.

ДВА ПИСЬМА

Дворик — весь в углах, закоулках, окруженный отовсюду старыми флигельками с кривобокими лестничками, крылечками, галлерейками — один из тех, которые нередко встречаются на окраине.

Спускался вечер, и человек, сидевший во дворе на колченогих ступеньках, мечтательно, полужакрыв глаза, всматривался куда-то поверх флигельков, в даль.

У седоватого человечка сполз с головы картуз, открывая лысину и окончательно доказывая, что человек совсем уже не молод.

Казалось, что человек, удобно опершись на локоть, становится все неподвижнее, все крепче зажимуривает глаза и готов вот-вот задремать.

Может, пьяненький он был? Может, утомился? А может, просто разнежил его весенний теплый день?

Гомон детворы, кружившейся по дворику, во все не мешал ему, и даже внезапный гром не поразил бы его так сильно, как чей-то внезапный оклик.

— Николай Скляренко!

Человек заморгал, сразу очнулся, приподнялся

и, перебегая удивленными, вопрошающими маленькими глазками по дворику, набрел наконец взглядом на почтальона. Тот уже торопливо направлялся к нему. Он, как видно, заметил его беспокойство и смущение (да и взрослых, кроме сидевшего на крыльце, в это время не было во дворе) и, еще раз на ходу назвав фамилию адресата, протянул седоватому человечку письмо.

— Гм! Да, да...— несколько смущенно и даже нерешительно, как бывает, когда неожиданно получают письмо, промямлил человечек.— Да, да... Давайте сюда... Спасибо...

Дремоту, вялость его словно рукой сняло. Какая чудесная бывает иногда сила у этих разноцветных птишек, прилетающих так неожиданно!

Он мельком глянул вслед озабоченному почтальону, уже спешившему дальше, и сразу же перевел взгляд на синеватый конверт, на котором большими буквами стояло: «Николаю Скляренко». Потом окинул взглядом все флигельки, повел привычно плечом. И так, вскинув плечо, слегка согнувшись, бочком прошагал по скрипучим ступенькам к себе.

В маленькой комнатке, выходившей окном в глухой тупик и уже затканной сумраком, человечек торопливо подошел к столу и зажег лампу.

Еще минута—и из его дрожащих рук порхнул на стол синеватый конверт.

Он оседлал нос большими очками и осторожно взял письмо. Еще раз вполголоса прочитал адрес. С мягкой, ласково-грустной усмешкой остановился на штемпеле «Харьков». Подбросил письмо на ладонях и заметил, что заклеено оно небрежно: или плохой конверт попался, или, может, очень уж пухлое было письмо.

И вместо того, чтобы распечатать, он отложил

его на стол, как иногда поступают те, кто хочет продлить щемящую сладость нетерпения, или одинаково боится и больших горестей и больших радостей.

Отложил. Вздыхнул. Покачал головой. Задумался.

Это продолжалось недолго — человек спохватился.

Бережно, любовно, чтобы сохранить первичную дорогую цельность, чтобы уловить еще запах пославшего и в воображении коснуться следов тех пальцев, которые заклеивали конверт, — человек подпорол податливый конверт и вынул письмо.

Здравствуй, Николка!

Давно уже не писала тебе.

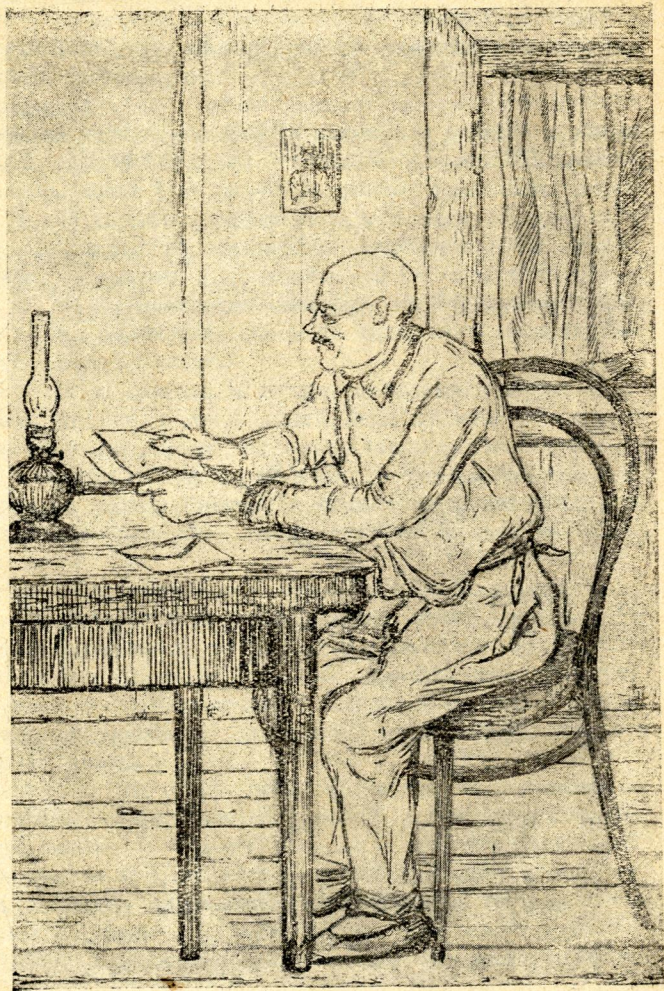
Да и ты не забыл ли совсем обо мне? Забыл, наверно? Правда? Ну, так еще интересней будет для тебя читать сейчас эти строки. А если давно не напоминала о себе — вот и наверстаю теперь.

Не писала я тебе, Николка, оттого, что, по правде сказать, с некоторых пор не могу понять, какие интересы владеют тобой. Как относишься ко мне и ко всему вообще. Ведь и ты давно-давно не подавал о себе вести, — возможно, и адрес уже не тот. Кроме того, была я, Николка, стчаянно занята, страшно много у меня работы и всяческих житейских хлопот.

А вот за последнее время сдала целых три экзамена. Остается еще один, последний — и все. А там — лето. Последняя практика. И делу конец.

Тяжеловато, тяжеловато, однако, как видишь — гранит науки уже догрызаю.

Ну, вот. А сегодня случился у меня свободный день. Сегодня у нас весна. Солнце хохочет во все небо, и куда ни глянешь — подснежники. Не крымские, а наши северно-



украинские, из пригородных лесов. На каждом углу улицы, на груди, в домах — всюду, всюду эти нежно-белые и голубые улыбки. Люди так жадно хватают их, прижимают к себе, что, ей-богу, иногда становятся похожими на детей и волнуют.

Представляю себе, какая уже теплынь и какая красота на нашем украинском юге! Я вспомнила сегодня тот наш кривой, глухой овраг, что влево от завода. Помнишь? Помнишь, когда еще не разбрелись мы по большим городам, когда еще были маленькими и жили на заводе, — как густо зацветали подснежники в том овраге! Ты, между прочим, побаивался туда ходить (не то из-за привидений, не то из-за маменьких наказов — не припомню уже), и я всегда подбивала тебя идти туда, силой тащила, как и остальных. Помнишь?

Вот так и сегодня я потащила за город целую компанию. Что же, в самом деле? Башмаки свои я на этих днях починила, может, не совсем элегантно, но так крепко, что хоть целый год играй в них в футбол, а день свободный, а солнце смеется, а подснежники тихо-тихо напевают нежно-голубые песни... Чего же, право? Эх, жаль, что я не поэт!

А как пахла земля за городом! Какие были, какие (ну вот, не найду тут нужного, точного слова)... какие были еще нерешительные, чуточку стыдливые краски! Стыдливые от той огромной, мощной полноты, что нарастает, что вот-вот сейчас прорвет пленку и радостно, жадно разольется, расцветет, заиграет. Чорт побери, как же хороша жизнь!

Вернулись мы домой немного грязные, зато с полными охапками подснежниковых улыбок. А мне снова вспомнился наш юг, и так отчетливо представился кривой овраг. И подумала я: «Дай, пошлю весточку, пошлю не родителям, а быдому сподвижнику детских лет». Почему так — и сама не знаю.

Ну вот. Села к столу, строчу тебе это послание (боль-

шое как будто!) и мельком переглядываюсь с синими глазами весны, которые сияют тут же, подле меня. Как романтично, правда? Ах, романтика,—неумирающая, бодрая слабость сильных незафутляренных людей! Это я не о себе. Хотя я и не в футляре, хоть признаю и уважаю только сильных и бодрых, но я не о себе. Женщины... Кстати, сегодня, возвращаясь из леса, видела я занятную картинку. Нет, должна немного отвлечься и хоть коротко тебе рассказать.

Было это в городе. На тех улицах, которые близко к окраине и на которых обычно дольше залеживается и снег и всяческий сор. По порыжелому, раскисшему уже снегу плыли посреди улицы низенькие санки. Точь-в-точь такие, как у нас бывают. Медленно, даже торжественно. Как человек: хлюп-хлюп...

Правил клячей милиционер, молодой парень с лицом деланно-суровым. А второй, тоже молодой, стоял на коленках у другого конца саней и хотел, видно, казаться официально-равнодушным. Он, этот второй, обеими руками держал за плечи женщину, которая в непринужденной, даже откровенной позе сидела посреди саней.

Хлюп-хлюп...

И женщина, еще молодая, крепкая, здоровая, но теперь безвольная, качалась, как в колыбели. Из-под белого платочка ее на щеки сбились волосы. В глазах, обведенных синяками, разом — пьяненькая муть, радость и протест. И вдруг она запела. Хрипло, каким-то надорванным голосом. И так громко, и такую бесстыдную песню, что на тротуарах сразу обратили внимание и повалили за ней толпой.

Милиционер подхлестнул клячу.

Другой усмехнулся и крепче взял ее за плечи.

— Мадонна... — сказал кто-то в толпе насмешливым и обиженным голосом.

Вот — кто-то романтически обиделся за Мадонну, а я по-своему романтически обиделась на недопустимую слабость женщины. Женщины вообще. Не только за честь

матери, а и за игнорирование или даже профанацию той величайшей, ответственной роли, которая принадлежит женщине в нашей обновленной Украине.

— И верно, как романтично! — теперь, должно быть, скажешь ты, усмехнувшись.

Но имей в виду: на этом термине я вовсе не собираюсь сейчас настаивать.

Об этом — особый разговор. Но если ты согласишься, что, к примеру, в спорте есть немало своей романтики, что в такой своеобразной, здоровой романтике нет недостатка хотя бы на съездах и конференциях, или в борьбе, или в стремлении к какой-то цели, — то я возражать не буду. Против романтики здоровых легких, ясного ума, неумолимой твердости и жизненной силы я возражать не буду.

Дело в конце концов, не в этом. Дело в том, что надо здоровым чувством любить жизнь и быть сильным. И женщине тут отставать уж никак не годится: ибо слабость ее очень часто бывает большим злом для других, на которых она влияет.

— Тоже слабых? — спросишь ты меня.

— А конечно, — отвечаю тебе.

А потому: да здравствует сильная, стойкая новая женщина, новый человек!

Понятно, истина эта также не нова. Америки эти давно открыты.

Но, создавая новое общество, в борьбе за великий завтрашний день, не следует забывать про такие Америки. Разве не так? Я, по крайней мере, каждый раз убеждаюсь, какая это прекрасная, хоть и старая, но вечно свежая истина.

А сегодня, в этот ароматный день, меня особенно переполняет радость жизни и желание быть непобедимо сильной. Ну да! Кто это там возится с настроениями, чтобы разжеванное класть в рот? Не надо таких! Кого там мучает самолюбие и разные крохотные, мелкие, личные интересы? Прочь!.

Ты, Николка, не обращай внимания, если я напишу здесь что-нибудь не так: у меня за тонкой стенкой соседи тоже студенты. Они, нахалы, сейчас завели какой-то принципиальный спор и так орут и грохочут, что весь дом дрожит. Я уже заклинала их пречистой силой, но они вежливо откликаются, что сейчас будто бы время отдыха и что каждый имеет право отдыхать по-своему. Ну, ничего. Вот кончу письмо, так я им покажу, где... и так далее...

Словом, сегодня меня особенно переполняет радость жизни и желание быть непобедимо-сильной. Не знаю: возможно, в известной мере именно по этой причине я и пишу сейчас тебе.

Уже давно отбились мы друг от друга, а потом встречались достаточно редко и случайно, чтобы говорить с уверенностью. Знаю: жизнь ты не можешь не любить, стать сильным не можешь не хотеть, но насколько мне известно из твоих собственных слов и кой-каких слухов о тебе, ты не излечился от своего надлома, и твой странный надрыв едва ли не прогрессирует.

Только не прими мои немного резковатые выпады против настроений и мелочности — не прими их непосредственно по своему адресу. Это сказано вообще. Ведь я не знаю, что ты представляешь собою теперь. Знаю только одно: зря ты меня когда-то не послушался, Николка. Помнишь? Зря. Правда ведь? Конечно, прежде всего в этом виновны твои родители, твоё воспитание. Ты хоть и расстался с ними, но, кажется, поздно. А с их влиянием, если только они живы ещё, и до сих пор ты не расстался? (Не сердись на такое непрошенное вмешательство. Ты ведь когда-то, ей-богу, славный был парень, да ещё и «сподвижник детских лет». Потому и обращаюсь с тобой свободнее. Ах, те снова подняли за стеной принципиальный тарарам!)

Помнишь, Николка, в детстве тебе часто запрещали играть со мною? Мы тогда ещё не знали, что такое класс,

и тогда ты еще отваживался нарушать волю старших, волю своего класса. Ну, да! — Может быть, это звучит стереотипно, но это так.

А после, много после, помнишь, как ты начал бороться с самим собой, как ты начал меняться? Качался, качался, и наконец покачнулся. И снова как-то странно, наполовину: не то — туда, не то — сюда...

Неужели ты еще не воспринял полностью наши огромные социально-исторические сдвиги и не воспринял новую Украину?

А может быть, я с этими вопросами поторопилась? Может, ты стал теперь совсем другим? Может, неправда, будто бы ты бросил свое (и без того слабое, бессистемное) ученье и пустился по воле волн, неизвестно куда?

Да и прочее, прочее, прочее про тебя — может быть только выдумка, сплетня, злобная ложь?

Тогда — жму твою руку, потому что и прежде когда-то ты тоже был неплохим парнем.

Не сердись же, дружище. И если будет возможность, советую приехать сюда, к нам, в столицу Украины, посмотреть, как здесь кипит жизнь, убедиться, как победно шагает история, поучиться, как надо быть сильным, решительным, жизнеспособным.

У нас и весна тут — хоть и более поздняя, зато больше в ней бодрости. Она тут скупее, чем на юге, но именно поэтому острее, глубже воспринимаешь ее, больше ценишь.

Ну, вот. Наговорила я тебе целую кучу всякой всячины. Расписалась, можно сказать, как никогда. Надоела наверно. Уже поздно. И подснежники мои утомились, хотят зажмурить глазки...

А все ж таки в этом году, возвращаясь с практики, заскочу я на наш юг, на завод, к родителям, и обязательно побываю в том кривом, глухом овраге. Давно-давно не была там.

Возможно, буду проезжать через твой город. Может, тогда увидимся. Ладно?

А пока — хватит. Пойду к соседям расправляться за принципиальный хохот и паровозные глотки.

Прощай, Николка!

... Человечек внимательно, до конца прочитал письмо и адрес и, поправив на носу очки, еще раз пробежал глазами все сначала. Потом снова, как и перед чтением, вздохнул, покачал головой, задумался. Затем поднялся и долго ходил по комнате, сторбившись, заложив руки за спину. Долго и напряженно что-то обдумывал. Морщил лоб. Подергивал по привычке одним плечом.

Какая чудесная иногда бывает сила у этих разноцветных пташек, прилетающих так неожиданно!

Наконец человечек подсел к столу и вытащив из старого, засаленного портфеля листок бумаги, прикоснулся к нему послушным пером. Потрогал очки. Минуту еще подумал. И написал:

Уважаемая гражданка!

Извините, что беспокою Вас. Но поскольку я есть работник местного домкома, постольку и пишу. К тому же я есть хороший сосед вашего знакомого Николая Скляренко. Его комната № 15, а моя № 16. От него знаю про вас и знаю ваш адрес. А потому и пишу.

И представьте себе, в последнее время начинает твориться с ним что-то странное, — ну прямо, что называется, не узнать человека. То хоть был так-сяк, а то уж стал кто знает, какой. Ну, выпил бы, погрустил там или что. Так нет. Работы никакой не работает, пропадает где-то, а потом, пришедши, конечно под мухой, скандалы всякие. Спокою от него нет, и за комнату платит неисправно, а выселить нельзя, потому — закон. А то, представьте, пла-

чет, и вовсе опустил ся. И зло берет, но жаль человека. Как уж я его ни уговаривал, просил, бранился, а никак не помогает.

И вот, значит ся, на той неделе под пятницу он тут у меня за стенкой, в № 15, повесился.

Между прочим, говорят, хворал он дурной болезнью. Но точно я не знаю. Труп отправили в морг. Еще раз извините. Но поскольку я есть работник местного дома и хороший его сосед, зная ваш адрес, постольку и решил уведомить вас.

Михаил Шурга.

Человечек снова искренне, сочувственно вздохнул. Он несколько раз неспеша перечитал, проверил свое письмо, покачивая головой почти при каждом написанном им слове, подтверждая каждую высказанную мысль.

Кажется, было сказано все, но вместе с тем так мало. О, если бы кто-нибудь спросил его, сколько мог бы он рассказать!

Он заклеил письмо, написал адрес и, машинально положив оба письма в карман, вышел из комнаты. У дверей соседнего № 15, где жили уже новые жильцы и откуда доносился детский смех, он на секунду убавил шаг, искоса глянул на темные квадраты дверных косяков. Потом пошел к выходу, на скрипучие ступеньки крыльца, на маленький дворик весь в углах, в закоулках, теперь уже наполненный вечерним сумраком и множеством запахов городской весны.

Пройдя полосу домовых теней, нырнув в серебряный месячный разлив, человечек сразу, круто остановился.

Кто знает — почему?

Кто знает, какие мысли промелькнули неожиданно в его голове?

Человечек повел плечом, сжался, как-то сгор-
бился, и, еще немного поколебавшись, потихонь-
ку, словно против воли, проковылял в самый тем-
ный угол двора. Там он вынул оба письма и, гля-
дя куда-то в сторону, додумывая какую-то мысль,
порвал их оба на мелкие кусочки.

Харькое, 1928.

Перевел Б. Туранов

Человечек снова вскинулся, сжался, как-то сгор-
бился, и, еще немного поколебавшись, потихонь-
ку, словно против воли, проковылял в самый тем-
ный угол двора. Там он вынул оба письма и, гля-
дя куда-то в сторону, додумывая какую-то мысль,
порвал их оба на мелкие кусочки.

Человечек снова вскинулся, сжался, как-то сгор-
бился, и, еще немного поколебавшись, потихонь-
ку, словно против воли, проковылял в самый тем-
ный угол двора. Там он вынул оба письма и, гля-
дя куда-то в сторону, додумывая какую-то мысль,
порвал их оба на мелкие кусочки.

Человечек снова вскинулся, сжался, как-то сгор-
бился, и, еще немного поколебавшись, потихонь-
ку, словно против воли, проковылял в самый тем-
ный угол двора. Там он вынул оба письма и, гля-
дя куда-то в сторону, додумывая какую-то мысль,
порвал их оба на мелкие кусочки.

В БЕРЕГАХ

На столе кипел самовар.

Певза неторопливо разглаживал густую, спутанную бороду и усы,— на фоне его медного лица они казались искусственно наклепленными,— и медленно, почти торжественно наливал себе на блюдечко ароматный напиток. От блюдечка поднимался пар, обдавая все лицо. Лицо это, как губка, сжималось, борода и усы топорщились, а глаза, и без того маленькие, превращались в едва заметные щелочки. Певза клал на зубы кусочек сахара, легонько прикусывал, стараясь как можно дольше сосать его, и с какой-то особенной осторожностью подносил блюдечко к губам.

С удовольствием дул он на блюдечко, аппетитно прихлебывал.

Только время от времени, когда щелочки-глаза останавливались на фигуре Надежды, выражение его лица менялось, словно холодноватый ветерок пробегал между кустиками бровей и бороды,— лицо на мгновение становилось строгим.

Надежда казалась уж слишком покорной. Но Певза хорошо знал, что такая покорность и молчание — лучшие доказательства ее недовольства: работы и так много, а он вдруг в будний день ни

с того, ни с сего заставил ее возиться с самоваром. Правда, заговорив о самоваре, он пожаловался на ломоту в костях — надо, дескать, их распарить. Да разве Надежда поверила?

«Ну и не верь,— думал Певза, отводя глаза в сторону.— Значит, я так хочу. А раз я хочу...»

Это была застарелая неприязнь к жене — с тех пор как она, подарив ему дочь, долго болела и стала бесплодной. А он так хотел сына! Так хотел иметь дельного, хозяйственного наследника. Обещания, которыми обнадеживали его знахарки-шептухи, с каждым днем теряли в его глазах свою цену, неприязненное чувство к жене с каждым днем возрастало. Он все чаще и упорнее заглядывался на других, а присутствие исхудалой, осунувшейся, покорно-молчаливой Надежды раздражало его, даже вызывало порой грозный гнев.

— А ну-ка, налей еще — утираясь полотенцем, важно сказал он и отвернулся.

Взгляд его упал на окно со сверкавшими на солнце стеклами, и он невольно зажмурился. Слегка отклонившись в тень, он окинул взглядом двор, навозные лужи у дверей хлева, и воображение тотчас же нарисовало ему двух грузных породистых кабанов, которые громко хрюкают там, за стенами; потом он перевел взгляд на овин и с приятным чувством вспомнил, что скоро покроет крышу новой соломой и что снопов ему, пожалуй, хватит еще и на сарай. Наконец он остановил свой взгляд на загоне для скота, где рыжая телка обнюхивала изгородь, лениво покачиваясь.

«Славная пеструха!» — с гордостью подумал Певза.

Солнце, чудесное весеннее солнце заливало двор. День казался особенно радостным, будто

праздничным. Солнце пробивалось сквозь оконные стекла, и Певза чувствовал, как оно начинало легонько, щекочуще-ласково греть его свисающую со стола руку. Певза постепенно приходил в более мирное настроение.

Все, что попадалось ему на глаза, убеждало его в том, что он — деловитый, хозяйственный, достойный внимания и уважения человек, и от этого еще больше возрастали его самоуверенность и любовь к самому себе.

— Пей, а то остынет, — предостерегающе напомнила Надежда.

Он вздрогнул и тотчас же нахмурился: Надежда опять напомнила о его самой главной, мучительной заботе — о сыне. Но он пересилил себя, успокоившись на мысли о том, что дело это он так или иначе уладит. Кому, в конце концов, не охота попользоваться его добром?

И аппетитно прихлебывая с блюдечка, обсасывая усы, он перенесся мысленно далеко-далеко... Перед ним уже расстилались, разбегались весенние поля, еще окаймленные по межам и оврагам сизым снегом; он расхаживал там вчера, обдумывая, когда уже пора будет выезжать с плугом. Тут же сбоку тянулась извилистая, разбитая колесами придорожная полоса, — в прошлом году он ее не засеивал, но в этом году тот участок, что врезывается клином на склоне, нужно непременно запахать. Все-таки перепадет мерка-другая на обмолот. Вот еще дело с мельницей надо довести до конца. Хоть и величают его кулаком (Певза усмехнулся), а все-таки бóльшая часть коллектива уже за него... Надо склонить на свою сторону еще нескольких, самых упрямых, и если... если будет мельница...

— А ну-ка, налей еще...

Мысли бежали свободно, смело. Простые, житейские, уверенно-спокойные мысли.

В хату вошел Олекса, батрак. Принес с собой смешанный запах хлеба и бодрого весеннего утра. Нить приятных мыслей оборвалась.

— Под овцами вычистил? — не оборачиваясь к нему, спросил Певза.

— А как же! — звякнул ключами Олекса и, потоптавшись у порога, добавил как бы про-себя:

— А на Петровом берегу, говорят, ночью кто-то лозу резал.

— Как? — отшатнулся Певза. — Ага! На Петровом! Резал, говоришь?

— Резал.

— А на нашем? — не знаю, не ходил... Да наш, пожалуй, еще под водой, далеко...

— Что? — сорвался с места хозяин. — Не ходил? Не знаешь? Да как же ты... Под водой! Далеко! Еще и понятия разводит! Да ведь я тебе раз навсегда сказал: присматривай. А ты... ты что?

Миролюбивое настроение Певзы сразу исчезло. С суровым, побагровевшим лицом он вышел на середину хаты.

— Что ж ты? А? — и, покачав укоризненно головой, тихо, но многозначительно процедил сквозь зубы: — Вот я сейчас сам пойду, посмотрю. И если там что-нибудь, то не проси себе у господ-бога милости.

Чаепитие было испорчено. Певза даже не хотел допить блюдечка. Так и бросил.

— Вот ироды! Вот доверься им. А?.. А ты чего сиротой казанской смотришь? Давай кожух!

Собирался торопливо, как на пожар. Боялся даже подумать, что у него мог кто-нибудь тайком похозяйничать. Правда, его берег более низкий,

отлогий, обильно заросший травой для косьбы, но в позапрошлом году Певза наново окопал его, провел канавы до самого болота и левую сторону негусто обсадил ивняком,— на правой уже давно росли кусты. Он не мог успокоиться, когда думал о том, что у соседей на берегу растет не мало ивняка и что соседям перепадает лишняя копейка за корзинки, которые они плетут, или просто за прутья для плетней. Чего же ему зевать? Отчего бы и ему не сплести несколько корзин и не продать их в местечке?

Певза хлопнул дверью. Второпях поскользнулся, не успев сделать и двух шагов,— еще не подсохло даже у завалинки. И тут же подумал:

«Не может быть... У меня этого еще не может быть...»

Широко ступая, он обходил лужи. Пыл его немного угасал. Когда же он приблизился к загону и взглянул на берега, залитые водой, он тотчас увидел, что напрасно поднял тревогу, и на душе у него отлегло. Словно кто-то шепнул ему, что никакой беды не стряслось.

«А все-таки надо посмотреть».

Вышел на огород и, спускаясь с пригорка, прикрыв глаза ладонью от солнца,— у него вообще было слабое зрение,— всматривался в широкую водную равнину, разноцветными красками переливавшуюся на солнце. Река превратилась в озеро. Река в этом году разлилась так, что и деды не запомнят. С прошлой недели начала она яростно бушевать, по ночам село захлебывалось в ее шуме, а два дня назад она прорвала плотину и мчалась, как рассвирепевший зверь. Вчера вода начала уже спадать.

Певза бросил взгляд на соседний берег, более высокий. Там вода как будто отступила до запру-

ды,— трудно разглядеть. Во всяком случае, ближайшая прибрежная полоса уже выступила из-под воды, иначе никто не мог бы пробраться на Петров луг. Так было и в прошлом году,— тоже воровали. Только тогда Певза меньше беспокоился, надеясь, что негустые заросли в его владениях еще не могут привлечь ничей завистливо-жадный взгляд. И правда, его лозы не тронули. Но вот эта сегодняшняя кража... уже началось...

Певза терялся, не зная, можно ли этому верить. Хотя вода и спала, да кто бы мог уже успеть пробраться? Правда, поднял тревогу сосед Петро, но ведь это Петро! Он из-за гнилого колышка готов голову проломить.

«А как же, прибеднивается... Обокрали, мол... Несчастный... бедняк... А этот бедняк закатает сегодня штаны, возьмет сети да и пойдет по чужим заводям рыбу ловить... И наловит, как в прошлом году, и карпов, и ершей — и варить будет, и солить, и на базар носить...»

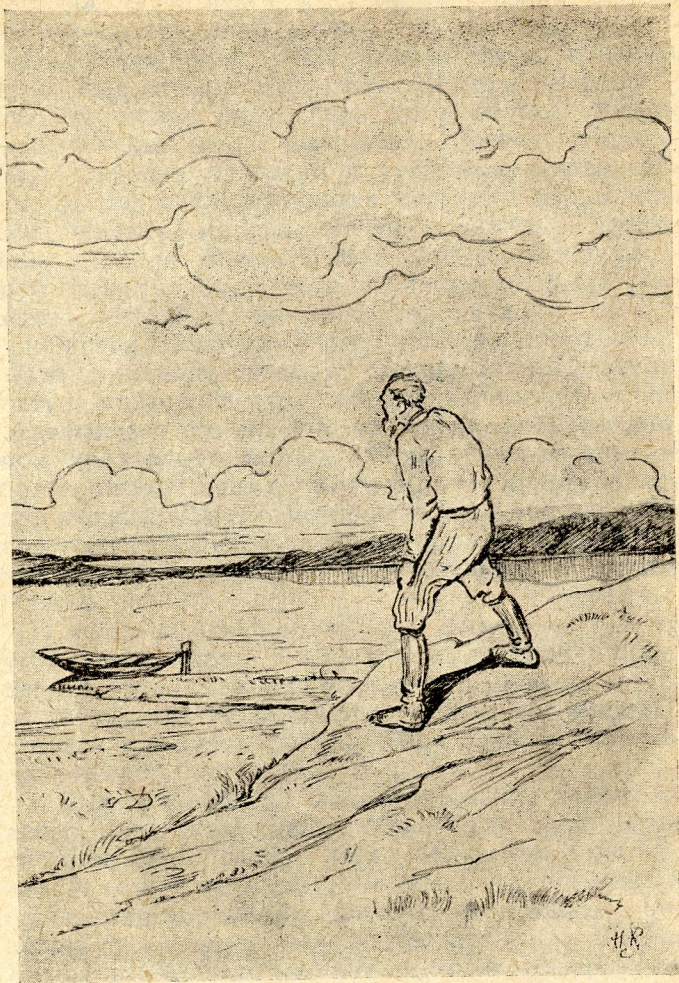
Певза на минутку приостановился.

«А почему бы и мне... с сетями?»

Но ответ уже напрашивался сам собою:

«Нет, на такой ловле еще простуду схватишь. Пусть уж те, кто глупее».

Перед ним, совсем близко, все шире и шире развertyвался луг, тянуло крепким запахом ила. Побережье в тех местах, где схлынуло половодье, желтело по кочкам щетиной прошлогодней осоки и водяного мака, а вся даль, особенно с левой стороны, сверкала водной гладью; затопленные кусты в канавах беспомощно тянулись из воды своими верхушками, веточками, словно поднимая вверх ручонки. И только там вдали, за узорным сплетением ветвей, эта ровная гладь как будто



начинала шевелиться, а на самом стержне темнел серый, почти синий изгиб.

Певза вздохнул с облегчением: сюда, в самом деле, еще трудно добраться. Шагнув на береговую тропинку, он прошел до пригорка, откуда можно было лучше разглядеть правую сторону. Здесь больше подсохло и гуще разрослись кусты. За сажалкой начинался соседний ивняк. Сизые, желтые, местами почти оранжевые, кустистые заросли тянулись далеко к огородам пестрой пряжей. Этой соседской пряжи было так много, что Певза невольно вздохнул.

«Ничего... даст бог... даст бог... и у меня...»

Он спустился ниже, к самому лугу. Скользя, оступаясь, пошел вдоль обсаженного кустами рва, отделявшего его сенокос от чужого и одним концом впадавшего в реку. Почва становилась все более мягкой, вязкой. Вода выступала и хлюпала под ногами. Далеко не пройти,— он это знал. Не торопился. Хотел только осторожно пробраться как можно дальше и окончательно убедиться. Присел.

И тогда сквозь частую сеть ветвей увидел: на углу поперечного рва, который отделял болотистый затон, там, где этот угол мысом выступал из воды, где поднималось несколько молодых стволов, там, прячась в зарослях, шевелилось красное пятно.

У Певзы захватило дыхание. Рой красных и зеленых мух слепящей паутиной поплыл перед глазами. Певза протер глаза, вгляделся пристальнее. И тотчас же понял: это женщина, одна из соседок (или вообще из живущих на околице), пряталась там и складывала нарезанную лозу в сноп, чтобы потом было удобнее нести ее. Какая-то отчаянная женщина, потому что пробраться на этот

мыс, вчера еще, вероятно, затопленный водой, было нелегко. Да и по топкой трясине ходить не безопасно. Но этим она и надеется отвести подозрения: Кому, дескать, может в голову притти?..

Певза вскипел. Хотел было крикнуть, но удержался, сообразив, что криком только испортишь дело: убежит не узнаешь даже, кто это. Опять глянул, но ветер колыхал частую сеть ветвей, и в глазах рябило, мелькало.

Он все-таки заметил, что красное пятно слегка шевельнулось. Тогда в раздумьи обвел вокруг взглядом и, сгорбившись, торопливо перебрался к соседскому рву.

У него уже было готово решение, не слишком сложное, но надежное: обойти полукругом, там, где почва более твердая. Надо дойти опять до своего рва, во что бы то ни стало перебраться на пригорок, где в прошлом году посадил он осокорь, — там как будто островок, и тогда... тогда он узнает. Тогда и поймать можно. Ведь бежать вору некуда, разве только прямо на него или же — вброд — прямехонько на его огороды. Другой дороги нет. И он поймает ее. Непременно поймает! В памяти мелькнул почему-то образ исхудавшей, изнуренной Надежды. О, эту он поймает... Не вырвется...

Охваченный каким-то новым, непонятным похотливым желанием, придавшим ему сил, он крепко хватался руками за кусты, приседал, нагибался, размахивал руками, чтобы сохранить равновесие, стараясь изо всех сил не производить лишнего шума, чтобы не спугнуть врага, чтобы напасть на него врасплох. Несколько раз ноги его соскальзывали, он проваливался в болото. На крутом пригорке, где нужно было перепрыгнуть,

он, оступившись, больно ударился коленом, набрал в сапог ледяной воды.

Но ничто не могло его остановить. Злоба, жадность, какое-то глухое звериное сладострастие подталкивали его.

Когда он добрался опять до своего берега, соседские владения, постепенно суживаясь, клином легли справа, а перед ним, совсем близко, вынырнул поворот — первый изгиб того рукава, который тянулся от плотины. Неподалеку, саженьях в пятнадцати, бесформенной грудой поднималась проорванная плотина. Из ее зияющей пасти пенистым шумным потоком неслась мутная вода.

Певзе стало немного жутко. Он торопливо отвел взгляд. Но того мыса, где притаилась добыча, не мог разглядеть: его заслонили густые заросли.

Сердце Певзы забилось сильнее.

Теперь только перебраться на пригорок. Вот он. И осокорь на нем — прямой и стройный, как молодой парень. Несколько шагов. Всего несколько шагов. Здесь самое трудное. Правда, тут не очень глубоко. А все-таки... все-таки...

С досадой покачал головой. Перепрыгнуть? Нет, для него это невозможно. Перейти вброд? О, нет! Это также опасно.

Однако останавливаться теперь, когда он уже преодолел столько препятствий, когда до его добычи рукой подать, когда остается сделать всего пять-шесть шагов, — останавливаться немислимо. И он вспомнил, что, пробираясь сюда, видел вдоль гребней рва множество обломков, прибитых потоком. Их не успели еще подобрать соседи, но его хозяйский глаз заметил несколько разбукших брусков и большое бревно. Долго не размышляя, он повернул назад и решительно взвалил

себе на плечи скользкое, облепленное грязью бревно. Нести его было неудобно. Пришлось тут же сбросить с плеч и, скользя, спотыкаясь, он поволок бревно, все время опасаясь, что этим шумом может преждевременно выдать свое присутствие.

Но все как будто шло хорошо. Приблизившись к тому месту, где можно было перебросить через канаву мостик, он осторожно опустил на землю бревно, мгновение застыл, прислушался...

Кажется—ничего. Только с правой стороны бушевала на плотине вода, и ее шум и рев, должно быть, заглушали и возню Певзы и шорох его врага.

Он вытер рукавом вспотевший лоб, быстрым взглядом измерил расстояние. Подтолкнул и пустил бревно. Дерево, чуть-чуть не доставая концом другого края, упало в воду с громким плеском, словно кто-то хлопнул в ладоши.

Он присел тревожно. Опять прислушался. Опять показалось—ничего. Медленно передвинул конец бревна на более удобное место, укрепил другой конец на твердой почве и, согнувшись, опираясь на поднятую тут же ветку, перебрался по мостику к желанной цели.

И тогда он увидел: на земле, в каких-то красных лохмотьях, с обнаженными зелено-желтыми ногами, неестественно изогнув стан и уронив одну руку в воду, лежала утопленница.

Певза побледнел, перекрестился.

Сразу стало темно и пусто. Потом, очнувшись, вспомнил почему-то все сегодняшнее утро. Утро промелькнуло в памяти быстро-быстро, урывками...

И тогда, впервые за всю свою жизнь, ощутил он, понял, что бывают моменты, когда можно самого себя презирать, даже ненавидеть.

ВРАГ

Время от времени конь проявлял беспокойство.

Было уже за полночь, над конюшней насвистывали окаянные ветра, и от этих протяжных воплей и шипения беспокойный, норовистый конь временами легонько вздрагивал.

Конь был молодой, сытый, полный мускулистой силы и упругости. По ночам он никогда не нуждался в отдыхе, который называют сном. Лишь иногда, будь то в бурю или в затишье, набегали на него коротенькие моменты забытья, внезапная дремота. Тогда почти совсем обрывалась нить смутных его представлений, и брала его приятная минутная недвижность. Но слышать — он и тогда слышал все. Видеть — также видел, насколько это позволяла ночь.

Новый приступ окаянного ветра заставил его очнуться. Когтистой лапой ветер с размаха хлопнул по железной крыше конюшни, и конь сторожко поднял уши, глянул, слегка вздрогнув.

Ибо хотя конюшня была хорошая, конюшня зажиточного хозяйства, все же сквозь какую-то щелку с силой прорвалась проворная струйка и тревожащим щекотом пробежала по конским бокам.

В этом дыхании снаружи было столько же холода, сколько и бодрости, и конь довольно, заигрывая, повел глазом на обоих своих соседей.

Соседи же (кобыла и второй жеребец), стоявшие рядом и также обвеянные быстрым ветерком, казалось, не обращали на это никакого внимания, да и вообще не слишком уделяли внимания сумятице, происходившей за стеной конюшни. Были они, эти соседи, совсем смирные, понурые и часто переступали с ноги на ногу. Были они старше первого коня, ноги у них утомленные, а тело вдосталь исхлестанное ветрами, и такие залетные холодные струйки казались им пустячными.

Они, конечно, могли бы еще долго и верно служить. Но случилась неожиданная беда: хозяин хоть и был зажиточный, однако последнее время кормил их так скверно, точно собирался на бойню. От голода, от усталости они становились все более вялыми, все более равнодушными.

Могли ли они равняться с молодым, сытым, не изнуренным работой конем, которого очень любил хозяин, для которого не жалел самого лучшего корма?

Потому и сохранял этот конь молодую нетронутость, ту свежую, тонкую чувствительность, которая заставляла его вздрагивать даже от легкого порыва ветра, случайно залетевшего со двора, или от стонов вьюги над конюшней.

Сквозь шум непогоды вдруг послышались шаги. Он насторожился.

Потом, когда шаги затопали уже под самыми дверями и звякнул замок, он тихо, отрывисто и приветливо заржал,— о, да, узнал уже!

Он издали угадывал эту походку и те несколько привычных движений, от которых позвякивал дверной замок. Он хорошо знал, что теперь должны раскрыться двери и должен войти тот единственный, кому он подчинялся и к кому каждый раз возникала в нем благодарная теплота.

Действительно — вошел хозяин.

Ветер хотел было воспользоваться этим и распахнуть двери настежь, но хозяин во-время удержал скобку и, побеждая усилия ветра, медленно закрыл дверь на засов.

Отчего так поздно, среди ночи, пришел он?

Может быть, хотел проверить — все ли в порядке, чтобы в такую лихую пору не случилось чего.

В такие ночи, как раз в такие ночи вовсе не мешает усилить надзор.

Хозяин осторожно зажег фонарь и, чтобы лучше видеть, поднял его вровень со своей шапкой, немного выше глаз.

Свет щедро падал на его немолодое уже, но и нестарое, густо заросшее лицо. Такие же густые, клочкастые брови кустились над глазами и вместе с глубокими надбровными морщинами и слегка выгнутым носом придавали ему твердое, суровое, даже жестокое выражение. Свет падал на одну половину лица, оставляя другую в тени. От этого еще резче выступали черты и сильнее выказывали природную суровость. От густой остроконечной бороды лицо выглядело худым, удлиненным. Как длинна была вся эта высокая, крепкая и немного сутулая фигура!

От него сзади убегала тень. Сначала тонкая, потом шире, перебрасываясь на потолок, странная, трепетно-подвижная.

Тень поразила коня, она казалась ему живым существом, какой-то зловещей птицей. Конь недоверчиво, беспокойно прищурился.

— Ну, чего ты, дурачок? — сказал хозяин, приближаясь к нему. — Чего ты, Коська?

«Коськой» прозвал хозяин коня, прозвищем, на первый взгляд, может, и не очень выразительным, зато простым, сердечным, теплотой проникнутым, как называют иногда в семье ребенка. И выговаривал хозяин это слово тоже особенным, полудобродушным, полуукоризненным тоном, как говорят иногда с ребенком. Видно было, что конь ему очень дорог.

— Чего же ты, Коська? — повторил хозяин.

И подойдя совсем близко, он любовно потрепал коня по шее.

Тот нервно дернулся, так, как делал летом, когда касалась его докучливая муха. Но не переставал щуриться и поглядывать искоса, гордо и капризно.

Его большой настороженный глаз при свете фонаря был не то фиолетового, не то красноватого даже оттенка. Только в одной точке светила искорка — отражение фонаря. Его ноздри быстро шевелились, шевелились слегка и губы. Он обшаривал мордой бок человека, ловил те запахи, которые человек только что принес с собой.

Сильнее всего пахнул, покрывая все остальные запахи, новый козух хозяина, туго схваченный широким кожаным поясом, словно хозяин собирался в дорогу. Крепко и кисло. Коню не понравилось. Коня это раздражало, как вообще раздражал его беспокойный свет фонаря, беспокойная зловещая тень на стене, щекотное похлопывание по шее, завывания ветра на дворе...

Конь начал раздраженно загребать передней ногой.

— Балуешь, басурман? — снова добродушно сказал хозяин и еще настойчивей потрепал коня по холке, но, заметив, что тот собирается лягнуть, уже угрожающе кинул: — Ну, ну!

С угрозой поднятая рука остановилась, мирно взялась за гриву и перебросила часть пышных, волнистых, холеных волосков на эту, на свою сторону.

И так, погрузивши пальцы в гриву, крепко ее сжав, точно держал тут концы всего своего добра, стоял хозяин какую-то минуту совсем неподвижно, в мгновенном глубоком раздумьи, смотрел сосредоточенно в землю, и вид у него был еще суровее, чем обычно. Потом, встрепенувшись и быстро оглядевшись вокруг, он отступил на шаг назад и в то же время резко, с досадой, дернул тот клочок гривы, который держал в руке, — так резко, что у него в пальцах осталась добрая щепотка.

Коня это удивило, поразило, и, снова прищурившись, он затоптал задними ногами, даже присел уже, готовясь вот-вот по-своему резко ответить.

Но ему не пришлось: как раз в эту минуту хозяин, отступая, наткнулся на стоявшую рядом запаршивевшую кобылу и, словно найдя выход внезапной своей досаде, злобно ударил кобылу.

— Ты! Чортова душа!

Неповинная кобыла слегка пошатнулась и покорно, еще ниже, склонила голову. А норовистый конь задрожал, дернулся, затоптал еще сильнее, точно ударили его, а не кобылу. Хозяин снова успокоился, пробурчал коротко и многозначительно:

— Ну! ну!..

И снова поднятая рука не осуществила угрозы — жалко, должно быть, стало. Поднятая рука только медленно очертила в воздухе дугу, будто еще колеблясь, и потом резко, неудержимо упала, хлопнулась о полу кожуха.

Да, хозяин на этот раз несколько необычно, странно вел себя. Был хозяин не такой, как всегда. И не потому, что сердился, бранился, а потому, что тут же, вслед ласкал и нежил (это случалось часто).

Нежность и грубость быстро являлись на смену друг другу. И было так, словно грубость свою он спешил смягчить лаской, а потом, смущенный преувеличенной лаской, торопился омрачить ее грубостью. И было еще так, словно потерял он сегодня всегда присущую ему твердость, словно охватила его острая неуверенность, словно грызет его досада, жалит гнев, — кто знает?

Крылатая, зловещая тень зашаталась и поползла на другую стену.

Хозяин отошел, но не вышел.

Остановившись у того места, где на колках висела упряжь, он поставил фонарь на-земь и потянулся руками к упряжи. Потом заглянул в другие углы, ища что-то, и крылатая трепетная тень, беспокоя коня, все время неотступно ползла за ним.

А немного погодя, вместе с тенью, он снова приблизился к коню и неожиданно укрыл его коротким, но плотным, вдвое сложенным рядом. Тут же, ловко связав два подбрюшника, сделал подпругу и ею в обхват начал обматывать накинутае рядом.

Эта неприятная помеха беспокоила коня. Конь топтался, хитря, изо всех сил надувался, чтобы

потом, вздохнув, ослабить нежелательные и слишком крепкие объятия.

Хозяин заметил. Хозяина охватила злоба. Раз, еще раз и еще раз толкнул он коня кулаком под ребра и этими короткими, резкими ударами заставил его сбавить напряжение.

Но вскоре, когда вторично, с уздечкой в руках, он подошел к коню, уже гнева не было в его изменившемся голосе. Снова полилась нежность, своеобразная нежность, — какая-то неуверенная, несмелая, но по всем признакам искренняя.

— Ну, зубы, Коська! Давай зубы! Ах ты сучий сын... Давай, давай, не крутись!

Польщенный новыми знаками ласки, конь капризно задира морду, крутил мордой, никак не давался.

— Зубы!.. — внезапно меняя тон, закричал хозяин так злобно и звонко, что у коня зазвенело в ушах, и он тотчас дал взнуздать себя.

Резким движением дернул хозяин за поводья и — хотел того конь или нет — повел его к выходу.

Хлопнули двери, и в грудь им обоим с разгона ударил ледяной ветер.

Была середина зимы. Как раз та пора, когда снег начинал подтаивать, но с севера снова донули морозные ветра, и чем дальше — все суровее, не удержижей. Вчера они еще только стлались, вились над степью, сегодня уже порывисто шмыгали по холмам, ныряли в долины, насквозь пронизывали дрожащие леса и целыми бандами, с свистом и воем, врываются в селенья.

Была темная ночь, такая темная, что окружающие предметы сначала совершенно сливались, точ-

но тонули, и лишь постепенно, когда глаз немного осваивался, начинали выступать в неясных очертаниях.

Была темная и ветреная ночь — такая, что минутами казалось, будто вверху пролетают бешено быстрые тысячные стаи летучих мышей или каких-то неведомых птиц. Множество рук, лап, узловатых, мохнатых, когтистых, хватающих, хищных, с размаху черкают по земле — цепляются когтями за деревья и на лету сгибают их, трясут, лохматят, — цепляются за крыши, за огороды и на лету селятся их сорвать, скрутить, раздавить...

Даже собак не слышно было на углях.

Едва вышли из конюшни, у самых дверей шевельнулось что-то горбатое, косматое, черное и крадучись двинулось им навстречу.

Конь шарахнулся. Конь дрожал. Не хотел идти в ту сторону.

Но хозяин снова резко дернул его за повод и повел к саду.

Приплясывая, храпя, конь неохотно подчинялся, и хоть на третьем же шаге выяснилось, что горбатое, косматое и страшное — не что иное, как самая обыкновенная куча навоза, — он все-таки вздрагивал, топтался на месте, выказывал сильное нетерпение и тревогу. Ему казалось, что вокруг — и на земле и в воздухе множество каких-то подозрительных, зловещих существ, которые бешено шныряют вверху, а внизу ползают, прячутся, подстерегают и, подпрыгнув, хищно набрасываются.

И когда хозяин подвел его к небольшому вишневному садику, он снова закапризничал, начал упираться: деревья, шумно качаясь, размахивая ветвями, как растрепанными космами, казались

ему такими странными, предательски-страшными, что он не решался приблизиться к ним. Не деревья — буйное сборище долгогривых и долгохвостых чудищ, вот-вот готовых кинуться навстречу. И его мускулы жестоко дрожали, и каждый самый крохотный нерв его был чрезвычайно напряжен.

Снова сердито дернул хозяин за повод, но на этот раз конь уже не пошел, решительно не пошел.

Замахнулся хозяин, стегнул даже концами ремня, но коня от этого охватила еще большая тревога; он сильнее приплясывал, пробовал стать на дыбы.

Тогда хозяин опустил поводья, подошел и ласково похлопал по шее — конь все-таки не шел.

— Ну, Коська! Ну, мальчик... Сукин сын...

Говорил хозяин так, словно ему самому в конце концов нравилось это конское упорство. Возможно, и конь это чувствовал. Но никакие хорошие слова не могли на него подействовать, и уступить должен был сам хозяин.

Он взял в сторону, мимо овина, так, чтобы далеко обойти буйное сборище долгогривых и долгохвостых чудищ.

Скоро вышли они на огороды, а за огородами вплотную начиналась степь.

На миг остановились.

Хозяин глубже надвинул шапку на лоб, плотнее подвернул полы кожуха, подтянул пояс и — сидел уже верхом. Даром, что был в летах. Был зато у него опыт и давняя привычка, да и вообще еще хватало силы, нажитой с малых лет, от хороших достатков.

Почувствовав на себе тяжесть, упруго, крепко охватившую бока, конь почувствовал и уверен-

ность в себе. А еще больше уверенности придали ему туго натянутые удила,— сразу понял, что хозяйская рука.

Он не был ученым верховым конем. Был только хорошим, если не лучшим во всем селе жеребчиком, о котором почти все село знало и начинало вспоминать с каждым днем все чаще. Да. В последнее время — слишком часто.

Хотя и не было у него выучки, но инстинктивно он угадывал, чего от него хотят. Конечно, это еще не воспринималось им как обязанность сразу же выполнять. Был он молодой, холеный и любил прежде всего (к месту ли, нет ли) немножко покружиться, побаловать.

Так и теперь, почувствовав больше уверенности, он задорно закинул голову и решил покружить.

Ему не удалось — не пускали суровые удила. А все-таки он хотел, очень хотел хотя бы на одном месте, хоть маленький, а сделать круг.

Нет, не пускали чуткие удила. Настойчиво раздирали рот. Оттягивали назад.

Ага! В таком случае можно позволить себе отшатнуться назад. Еще и присесть. А то и прямо стать на дыбы.

Тогда колко, щекотно уткнулись хозяйские каблуки ему под ребра. От этого возбуждающего прикосновения все существо его разом устремилось вперед.

Сначала он дробно загарцовал на одном месте. Потом, когда достигли дороги, пошел неверной рысцой, игриво пошатываясь, покачивая на себе ездока. И это самому коню так понравилось, так четко и твердо заговорили с ним удила, так ловко и прочно прирос к нему седок, и так задорно подлетал, толкал, хватал за ноги разбойник-ветер,

что коня все больше охватывала радость, перешедшая в ярость.

Внезапно он заржал.

— Ты, чор-р-р!..— рванул черный, хваткий ветер тревожное слово хозяина и скрутил, порвал, кинул его на-земь.

Видно, не хотел хозяин, чтобы их услышали. Он сердито рванул поводья и в то же время ударил коня каблуками.

Конь взъярился. Но вспомнил, что должен подчиниться.

Он не отказывался подчиняться. Но сначала любил дать себе немного воли, пошалить. Да и покорность его никогда не была чем-то поспешно-согласным, услужливо-рабским и всегда проявлялась последовательно, с горделивыми манерами, со знаками достоинства, уверенности и жизнерадостной силы.

Взъярясь и вскинувшись, он тотчас оставил эти выверты и, постепенно выравнивая шаг, шире и шире загребая ногами, пошел своей легкой, широкой, прекрасной рысью. Удила не сдерживали, и конь был за это благодарен.

И за то, что сидел на нем надежный внимательный хозяин, он точно так же был благодарен.

И за то, что бежалось ему легко, что вокруг черная ночь, и разбойник-ветер, и буйная бодрость — он был также по-своему благодарен. Благодарен самому себе, своему хозяину, этой бурной ночи, всем, всему.

Полнота жизни пьянила его. Огромную, трепетную радость жизни, радость глубоко дышать, свободно двигаться ощущала каждая, самая крошечная часть его существа.

Конь шел.

Конь еще прибавил ходу.

Под копытами по временам звенела земля. Степная, еле заметная ночью, дорога пружинила и, туго натянутая морозом, звенела. А гуляка-ветер без толку перебирал впереди лады, выхватывал звуки из-под конских ног, рвал, разметывал их, швырял в ночь, в неведомую даль...

Ветер хитрил, пробовал уже внезапным резким взмахом хлестнуть коня по ногам, предательски подсесть. Конь не обращал внимания, шел так же быстро, ровно, уверенно.

Возмущенный ветер с разгона падал коню на грудь, теснил дыхание, слепил глаза, путал гриву. Конь, метнувши упрямо головой или крепко чихнув, все так же, без всяких уступок, шел дальше — долго шел.

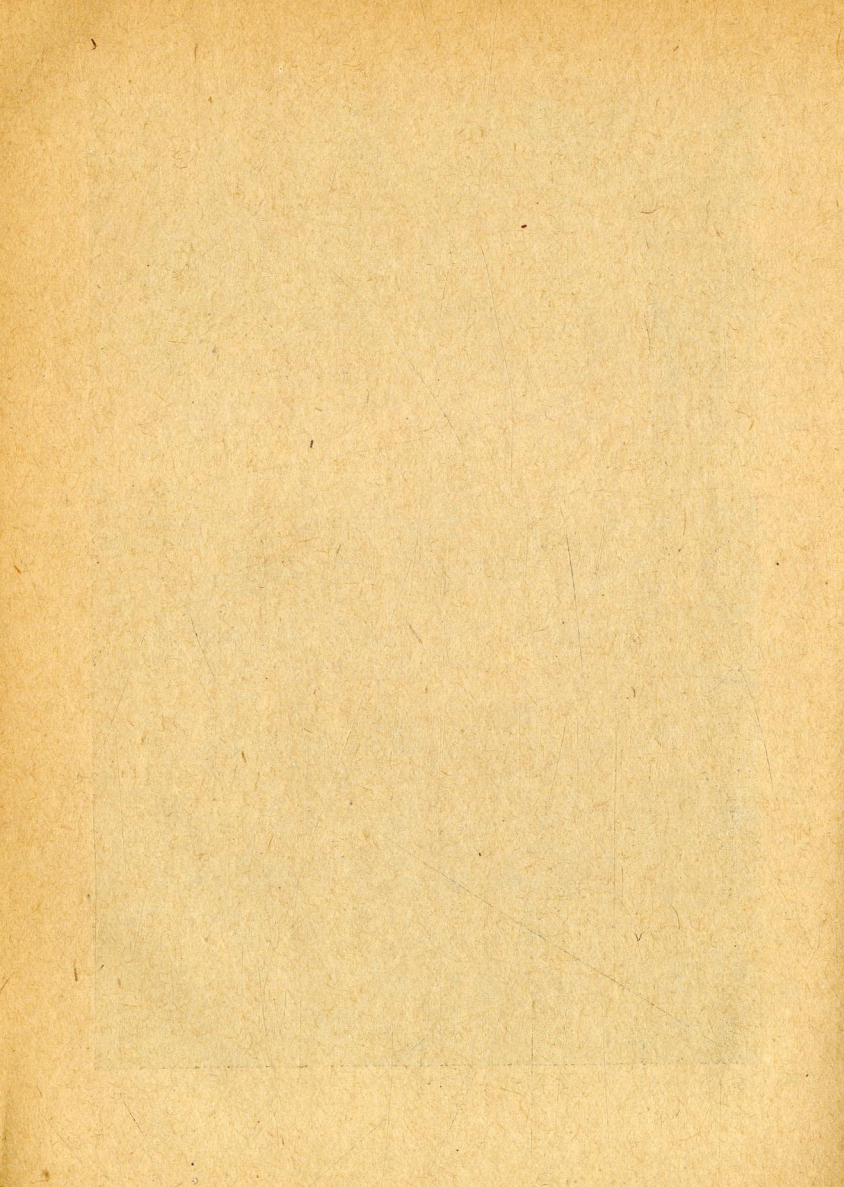
Осатанелый ветер наконец забежал сзади, налегал на круп, начинал дуть наискось, — дерзко, стремительно, настойчиво. В таких случаях он действительно немного мешал. Его злобная настойчивость иногда сбивала коня. Но чуткие тугие поводья в тот же миг остерегали, выравнивали. И конь, как и раньше, быстро, легко, уверенно шел дальше.

Остались позади какие-то два оврага, осталось в памяти их затишье. И кто знает, сколько промелькнуло времени, сколько пути легло позади, но дорога снова пошла под гору, снова начало обступать затишье. Все более спокойное. Все более глубокий яр. Вот и дно. Совсем тихо. Странно тепло и тихо. Миг. И вот уже дно миновали. Уже навстречу — противоположный край. Большой отлогий скат.

Поводья молчат, не сдерживают. Они не сдерживают даже тогда, когда конь, разохотившись, берет гору галопом.

Такого конь еще никогда не знал. Всегда в гору





его заставляли идти неспеша, шагом. Теперь же давалась ему полная воля.

И когда разгоряченный, взволнованный конь выскочил из яра, когда попутный ветер, точно того и ждал,— сразу поддал ему задора, и когда ветер и конь кинулись наперегонки, поводья и тут почти не вмешались, не останавливали яростного галопа.

В этой бешеной гонке, в темноте и в тисках бури, так легко было споткнуться на обе ноги, упасть, погибнуть. Спасало их то, что дорога лежала почти ровная, укатанная.

Хозяин, как видно, знал, что дорога здесь надежная, иначе вряд ли позволил бы мчаться очертя голову. Он сидел, низко пригнувшись, почти припадая к конской шее. Сидел плотно, цепко. Его полусогнутые ноги, крепко стискивая коня, застыли как в судороге. Он как бы прирос к конской спине, и его скорченные ноги были, как крепкий, узловатый корень в земле. Он хорошо умел держаться, недаром с малых лет сидел на коне.

Ветер бил ему в лицо, слепил глаза, хватал за бородку, дерзко сбивал ее в комок, и тут же разбивал, раскидывал эти длинные усы и бороду. Борода, казалось, неожиданно и неимоверно выросла, удлинилась, протянулась за плечи, летит сзади перекошенным крылом. Ветер свистел, а он, пригнувшись, зорко вглядывался в ночь, и где-то там, далеко, во тьме, его возбужденное воображение ловило временами обрывки незабываемых событий, когда бушевало восстание и когда он так же бешено летел среди ночи на коне, а сзади неотступно летели красные...

От этого воспоминания все его существо сжималось, ноги еще крепче охватывали коня, будто чувствовали внезапную опасность падения, глаза

еще больше щурились, еще пристальней всматривались, словно хотели проверить — нет ли снова какой-нибудь угрозы.

Вскоре он придержал коня и, круто повернув, метнулся назад. Не сдерживал. Так спасаются в испуге.

Скакал конь снова. Галопом, галопом назад. Быстро, стремительно назад. И на всем скаку влетел в тот же яр.

Через минуту яр уже был позади. Но хозяин не позволил долго итти по этой стороне. Как и раньше, он круто повернул и в третий раз погнал удивленного коня в тот же яр.

Чего он хотел, этот необычный сегодня хозяин?

Зачем он кидался от края до края, словно вражеский всадник, попавший в ловушку между двумя отрядами?

Повинуясь его воле, конь немедленно снова нырнул в минутное затишье яра. Минута — и, дыша во всю ширину легких, надрывно карабкался по противоположному склону. Еще минута — и скакал конь назад по той же ровной, укатанной дороге.

Этого было для коня слишком много: никогда он не знал ничего подобного. Сердце его стучало учащенно. Кожа покрылась потом. Все большая наполняла его ярость и все меньшую ощущал он зависимость от своего седока.

С шумом непогоды перекликался, возникал в собственном его существе какой-то невнятный шум. Быть может, от ветра, который немолчным свистом пронизывал уши, в голове коня колыхался, рос, распирал череп непереносимый гул. И в этом увлечении, в радости, в гуле, в буйной ярости минутами меркло его сознание, и на глаза ложилась внезапная тень сомнения. Тогда он не-

Доверчиво шурился, напряженно вглядывался вперед,— не знал, долго ли так будет. Может быть, в самом деле, надо бежать, надо бояться.

И вдруг метнулось впереди что-то маленькое, хищное, вертявое.

Или, может, показалось?.. Черное, хищное, вертявое.

«Вот он — страх»,— внезапно понял конь и рванулся в сторону.

Бросок этот был так неожидан и силен, что седок едва удержался. Еще немного, и испуганный конь летел бы один. Но он и так уже не чувствовал седока. Он уже не подчинялся встревоженным рукам, которые удилами раздирали ему рот и хотели теперь остановить. Он закусил удила, дугою выгнул шею и, охваченный ужасом, мчал без дороги, слепо, неведомо куда. А за ним все время неотступно мчалось все то же — маленькое, хищное, вертявое.

Черное, хищное, вертявое.

Или, может быть, так казалось?

Все равно, он не мог остановиться. Он не мог допустить, чтобы оно — черное, хищное, вертявое — догнало, подкатилось, уцепилось. Нет! Он ни за что не мог допустить, чтобы оно, чего доброго, еще и оказалось впереди.

Оно еще катилось сбоку, все время немного сбоку, на том же расстоянии, как выскочило вначале,— так казалось коню. Но оно хитрило, пряталось, изворачивалось (так казалось коню), и оно — хищное, черное, вертявое — всеми силами хотело приблизиться.

Нет, он не мог допустить. Никогда!

Несмотря на удила, раздиравшие ему рот, он летел, как пронзенный болью, как окаянный ветер.

А ветер, растерзанный, радостный, дикий, поднял вокруг такой беспорядок, такую кутерьму, щелканье, шум, шипенье, что этот свист и шипенье становились уже непрерывными, сплошными, как быстрый звуковой поток, и казалось, что сама земля — тоже быстрый, kloкочущий черный поток, которого ни обойти, ни задержать.

За ураганным ветром не слышно было человека. Человек кричал. Правда, отрывисто, коротко. Коротко и сильно. Но от его выкриков оставался только невнятный, обрывистый, не отличимый от завывания ветра стон.

— О-о-й!..

Должно быть, «стой!» кричал хозяин. Кричал машинально, бессознательно, не думая в эту минуту о том, что его все равно не слышно. А если и было слышно, то все равно окрик не мог уже подействовать на коня.

Конь неся. Испуганный кучей земли или кустиком, а может быть, каким-нибудь случайно повернувшимся и тоже перепуганным зверьком, молодой норовистый конь неся прямо по полю, по пашне. И если он не падал, не ломал себе ног, не сворачивал шеи, так, должно быть, благодаря тонкому животному чутью, которое своевременно подсказывало, куда ступить, бессознательно оберегало.

Конь неся, преследуемый представлением о чем-то маленьком, черном, вертлявом, что, как он думал неизменно, крадучись, катилось немного сбоку. Оттого и сам он, испуганный до одури, все время сворачивал в сторону, в противоположную сторону, чтобы избежать встречи, уклониться.

Он не понимал, что сворачивает. Точно так же не замечал этого и хозяин. Хозяин, прильнув к конской спине, мысленно только молил злую судь-

бу, чтобы не попался по пути ров, или овраг, или другое препятствие. Мысленно он готовился прыгнуть и, как это ни опасно, наверно отважился бы, если бы все это случилось с ним днем, а не в такую темную и бурную ночь.

Подобно пауку, который, согнув лапы, изо всей силы цепко держится, хотя ветер качает тонкую паутину, так и он, охватив своими кривыми жилистыми ногами коня, крепко сжимал его, не упуская ни на миг,—держался как за жизнь.

Он по опыту знал: раз животное сорвалось и не успели его сразу сдержать,—лучше дать ему возможность отбежаться, отдышать оглушенный его страх. И потом, как еще он мог теперь поступить, если не отдаться на волю буйствующих сил и ждать, чтобы хоть в последнюю минуту изловчиться и спасти себя?

Одно его больше всего беспокоило: он боялся, не заяц ли случайно перебежал им дорогу. Уверен был: если заяц — добра не жди. Обязательно случится беда. Все, что угодно, только бы не заяц.

Все время сворачивая, незаметно сворачивая, конь наконец звучно загредел копытами, наткнулся снова на ровную, укатанную, звонкую от мороза дорогу. Ветер сразу же рванул, скомкал, перевернул это коротенькое, внезапное затишье, позволившее услышать звон копыт, и, словно навстречивая, поднял вокруг еще более безудержный гам. Но уже хорошо чувствовалось, что под копытами — твердый, убитый грунт, и конь, попав на него, не сбивался, держался его инстинктивно. Конь даже начал убавлять разгон. Казалось ему, что тут, на твердой дороге, он может чувствовать себя более безопасно: маленькое, хищное не посмеет ступить на твердую дорогу. Все убавляя разгон, он только упрямо, порывисто мотал голо-

вой, через силу раздувал бока частым дыханием и дрожал, не переставая, взволнованно. Страх еще не прошел.

— О...а! О...а! — что-то говорил хозяин, — что именно, за ветром никак не разобрать. Но говорил что-то успокаивающее, в то же время пробуя ласково потрепать коня по шее.

И в тот самый момент, когда хозяин слегка перегнулся было, готовясь прыгнуть, коню показалось, что маленькое, хищное опять подкрадывается к ним, хочет перебежать дорогу. Конь испуганно кинулся в сторону, метнулся наугад.

Как и в прошлый раз, едва удержался на нем хозяин. Резко рванул хозяин удила, а потом удилами раздирал рот коню, кричал что-то, пытался сдержать — напрасно, напрасно.

Разве мог конь послушаться, если с перепугу вовсе затмилось его сознание и притупились все чувства, кроме чувства самозащиты?

Разве мог он остановиться, если ярым глазом своим замечал, что хищное, черное, вертлявое все-таки упорно катится и хочет догнать?

Он убегал все быстрее, с каждым разом отклоняясь все в одну и ту же сторону.

Так доскакал он до какой-то лощины, свернул резче, инстинктивно минуя крутой склон. Когда же под ногами почувствовался более ровный скат, он дал ногам своим волю — напрямик, через лощину.

Так долетел он было до высокой, крутой стены, неожиданно вставшей из темноты, — но, не поняв, что это железнодорожная насыпь, испугался еще больше и шарахнулся в сторону.

Так в этой скачке по бездорожью промелькнули мимо них какие-то дома, деревья, — должно быть,

хутора,— но доотказа натянутые удила все-таки не могли сдержать бешеного бега.

Наконец, выросла им навстречу какая-то неведомая гора, и конь уже не испугался ее, не свернул, а слепо, упорно кинулся побороть. Подъем был большой, отлогий, и конь бодро карабкался, напрягался, порывался вверх.

Он уже начинал слабеть, но непрестанно взбирался все выше и выше. Он не знал, далеко ли еще, но во что бы то ни стало хотел добраться до вершины.

В бешеном напряжении, в беспамятстве, в отчаянии все существо его пронизывало одно стремление, одно желание: чтобы там, куда он так тяжело, через силу, взбирается, найти, наконец, спасительное убежище. Не только желание, но и надежда. Не только надежда, но и уверенность,— прямая, бессознательная уверенность, что так и будет, так должно быть.

Взлетев на гору и пробежав по равнине еще немного, он представил себе, проверил, что страшное осталось уже позади, внизу, и начал замедлять разгон. Он чувствовал огромную слабость и жажду. Потому-то, видимо, от все возрастающей слабости исчезал страх.

Скоро он перешел на рысь, потом на медленную рысь. Через какую-нибудь минуту он сразу почувствовал облегчение: соскочил седок.

Конь отбежал немного, нерешительно остановился.

Нерешительно и удивленно остановился и ветер. Но после минутного затишья снова сорвался и дико заплясал, подбивая, вызывая. На коня это почти не действовало. Уже пришел в себя конь и, равнодушный от усталости, не воспринимал этих хитростей.

У него ходили круги перед глазами, пересохло в горле, не хватало воздуха. Часто и высоко вздымались бока. И когда с опаской подошел к нему хозяин, осторожно прикоснулся ладонью к дышащейся груди, конь почувствовал, что грудь его совершенно мокрая. Почувствовал также при этом прикосновении ладони прерывистую дрожь.

Страх его еще до конца не прошел. Хозяин понимал. Хозяин также не избыл еще смертельной тревоги, но к коню (по крайней мере в эти первые минуты) шевельнулась в нем нежность: ведь что бы там ни было, не споткнулся конь, не упал, не искалечил, не убил.

— Коська! Ось...а! О...а! — ветер не давал слышать, но почувствовать хозяйскую благодарную нежность мог конь по его ласковым и щедрым прикосновениям.

Нежность, правда, была недолгая и какая-то неуклюжая. Зато какая большая нежность! Может быть, еще никогда такой не дарил суровый хозяин. Шла она из глубочайших глубин его существа, и потому, хоть короткая и нескладная, она передавалась полностью.

Теперь коню было приятно от этих похлопываний и приговариваний. Он уже меньше дрожал. Его начинала наполнять большая уверенность. В нем пробуждалось что-то похожее на смущение за свой испуг — то чувство своей вины, которое свойственно каждому животному.

Подобрав поводья, хозяин медленно двинулся вперед. Куда? Он и сам не знал. Куда-нибудь вперед.

Итти было трудно. Приходилось пробираться пашней. К тому же ветер валил с ног. Да и конь, ступавший теперь лениво, чересчур вытягивал шею, а временами останавливался.

Успокоившись немного, хозяин сообразил, что прошло уже немало времени, что скоро начнет светать. Он почувствовал холод, заметил, что в сумятице расстегнулся ворот его кофуха и проворный ветер успел уже хорошенько прошить одежду. Он на минутку остановился, стал спиной к ветру и, когда, приведя в порядок одежду, тронулся было дальше, — совсем вблизи перед собой увидел высокую черную фигуру. Неподалеку виднелась вторая, также высокая и черная. Левее — как будто тоже.

На следующем же шагу он узнал тополя. А еще через несколько шагов, перескочив через небольшую канаву и ступив на твердый, укатанный грунт, он увидел, что это старая аллея прежней господской усадьбы, так называемый Пятигоров шлях.

Стало ему веселее: теперь хоть знал, где он. Но уже через минуту его радость погасла: он понял, что отсюда до дома добрый десяток верст.

Напрямик, так же, как он добрался сюда, могло быть значительно ближе. Но вернуться... вернуться не мог он тем же манером — приходилось только этим путем, мимо Пятигор.

Остановился хозяин, пригнулся, внимательно огляделся, обсудил. Да, его ночная поездка слишком затянулась.

— Ну, чоррр! — досадно дернул он коня, который сопел и упирался.

Нежность исчезла. Была даже озлобленность, темная угроза, словно виной всему являлся один лишь конь. Избежав беды и выйдя на надежную дорогу, хозяин почувствовал уже знакомую ему особую независимость от всего, почувствовал себя снова хозяином. Снова давало знать его чрезмерное раздражение, злость, вообще то необычное, что сегодня было ему свойственно.

Он не обратил внимания на усталость коня. Он снова резко дернул за удила, закинул удила на шею и сел верхом. Он не рассчитывал так долго пробыть в степи и теперь торопился, — сразу уже ударил коня каблуками, срывая его на быструю рысь. Как будто конь был единственной причиной всех его неприятностей и раздражения — он ударил коня еще раз, хоть бежал конь старательно, — ударил, замахнулся и крикнул.

В волнении он забыл, что нельзя мстить животному, подвластному, немому, от себя не зависящему существу. А если и не забывал, то не мог уже овладеть собой, усмирить гнев.

Может быть, вспомнив о чем-то неприятном, он машинально, бессознательно отводил злобу. Затуманенный мстительным чувством, он этим мстил, или хотел мстить кому-то другому.

Но конь никак не понимал его. Конь бежал, и чувствуя великую усталость, обессиленный жаждой, уже не мог бежать быстрее.

Все же его то-и-дело подталкивали каблуками, то-и-дело замахивалась рука и раздавался угрожающий голос.

Наконец конь начал замедлять шаг. Седок не шадил — была только жестокость.

На крутом подъеме конь, как ни старался, не мог вынести рысью — пошел шагом. Хозяин сильно ударил ногами. Конь дернулся, но шел шагом. Тогда хозяин выше подобрал поводья и концами их со всего размаха ударил коня. Конь метнулся, как ошпаренный, нервно затоптался и все-таки пошел шагом. Хозяин, сатанея от злости, снова и еще сильнее ударил его.

«Ну, не могу я, не могу!» — казалось, говорил потный, измученный жаждой, вконец задохшийся конь. Но не мог сказать и, дергаясь от этих не-

заслуженных, жгучих ударов, взбирался на пригорок тем же неизменным шагом.

Хозяин, видимо, спешил, чтобы до рассвета быть дома.

Теперь он уже обращался с конем так, точно не было у него ни разума, ни сердца, точно пробудилась в нем и затопила все какая-то зверская злоба, а может быть — отчаяние.

Когда приблизились к своему селу, к усадьбе, ветер немного утих. Тьма начинала рассеиваться. Все вокруг приобретало более отчетливые контуры, — светало.

Возвращались точно так же огородами, задворками. Подъехали вплотную к саду. У сада хозяин быстро соскочил и с силой потащил за собой коня. Но конь не спешил. Коня уже не поразили взлохмаченные деревья. Не казались уже они буйным сборищем долгогривых и длиннохвостых чудищ. И не потому, что на рассвете их очертания были коню понятнее и обессилевший ветер меньше размахивал их ветвями, — сам конь вконец обессилел, стал совсем равнодушным.

Хозяин вел его напрямик через сад, и он не упирался. Он только шел медленнее, чем хотелось бы хозяину. Вообще хозяин выказывал теперь особенную настойчивость, поспешность, какую-то неуверенность. Ступал он пригнувшись, воровато озирался, точно подходил не к своему, к чужому двору.

Но ни близость конюшни, обещавшая отдых, ни хозяйские понукания, в которых было достаточно угрозы, не могли подействовать на коня и ускорить его шаг. Попрежнему он шагал медленно. Он вытягивал шею за крепко натянутыми поводьями,

и казалось, что ему не то что шагу — ни одного движения не хочется сделать. От него столбом валил пар, и на губах, на шее, на груди, под брюхом так густо выступила пена, что свисала кое-где целыми кусками. В голове гудело. Как и раньше, не хватало воздуха. Как и раньше, мучила жажда. И хотелось остановиться, стать неподвижно. Хотя бы и здесь, посреди двора. Все равно.

Навстречу из рассветного сумрака, оттуда, где хата, выплыла фигура. Хозяин от неожиданности вздрогнул, остановился на полушаге, словно готовый кинуть поводья и бежать. Но быстро овладел собой и с сердцем выругался.

— Боженька святой! — пораженная, развела руками жена, подходя ближе. — Боженька! А я убиваюсь, а я места себе не найду... Хвать среди ночи — а его нет. И нигде нет. Думала уж: взяли тебя так, что я и не услышала...

— А ну, не гомони. Тсс! — предостерегающе и сердито буркнул хозяин и, понизив голос, не то жене, не то самому себе пробормотал: — Возьмут еще... не скули.

— Что ты говоришь? — не расслышав, взволнованно переспросила жена.

— Отворяй конюшню, говорю!

Это исчезновение среди ночи, поздняя поездка, возвращение на рассвете, и конь весь в мыле, и хозяйский гневный окрик, его осторожность, чрезмерная поспешность, с какой он старался укрыться от стороннего глаза или уха, — все это было так загадочно, странно и тревожно для нее, что она помимо воли на минуту застыла в нерешительности.

— Ну, отворяй же! — гаркнул нетерпеливый хозяин.

Жена вздрогнула. Она уже знала, что такой голос не предвещает ничего доброго. Руки ее дрожали, и ключ долго не попадал в отверстие замка. Это еще больше раздражало мужа. Его густые клочкастые брови начинали уже топорщиться, наползать на глаза. Надбровные морщины его, сдвигаясь над переносьем, становились уже более глубокими, более резкими. Он не выдержал, грубо оттолкнул жену. Поспешно взялся сам отпирать. Но чересчур спешил и нервничал, и тоже не мог сразу попасть ключом. Охватывала его такая нестерпимая злоба, что к сердцу подступало.

— Да погоди! Ну, чего ты лютуешь?.. Боженька мой! — успокойтесь, хотя и с укором говорила жена.

Он остановился, озверело взглянул на нее, и не окончилось бы это одним только зловещим взглядом, если бы как раз в этот момент не щелкнул и не открылся капризный замок.

— Ты мне поговори, поговори! — многозначительно предупредил хозяин.

Вошли в конюшню.

Дорогу к яслям преграждали те две заброшенные лошади, которых, в последние дни как будто готовили на бойню, — одна из них лежала, отяжелев, другая стояла, понуро опустив голову. Хозяин ткнул сапогом лежащего коня, — не подымался. Ткнул тогда второй раз, сильно, ненавистно, — лежащий качнулся, поднялся на передние колени, медленно выпрямился.

— ...сибирки на вас!.. — продолжая какую-то мысль, злобно пробормотал хозяин.

Через минуту, привязывая коня, он кинул через плечо жене:

— Давай воды!

— Воды?—машинально переспросила совершенно растерявшаяся женщина.

— Воды,—повторил он.

— На что тебе вода?—несмело снова переспросила она.

— Воды, говорю, давай! Чорррт!—и потом вдогонку прибавил: — Да не тарабань там ведром! Слышишь?

Когда принесла воду (колодец был тут же, на дворе), он уже успел расседлать. Спина у коня была совершенно мокрая, и от нее густо валил пар.

Но, ничуть не колеблясь, хозяин сразу подал ему ледяное пойло.

— Ты сдурел? — в испуге и отчаянии всплеснула жена ладонями.

Он и не поглядел на нее. Он теперь видел перед собой только жадную морду коня, молодого, доверчивого коня, который не отрываясь пил, причмокивая, морщился от холода, захватывающего губы и зубы,—пил свою погибель.

Дальше сил не стало — хозяин отвернулся.

Но едва полегчало в руках ведро, хозяин снова крикнул жене:

— Давай еще!

— Что ж ты делаешь, окаанный? Пропал ведь конь! — отчаянно, слезно взмолилась жена.

— Ну! — загремел яростный голос, и она покорно пошла.

Хозяин, как и перед выездом, взялся ненароком за любимую гриву, пышную, волнистую, выхоленную. Погрузивши пальцы в тонкий волос, крепко сжав, словно были здесь все концы его кулацкого добра, стоял он с минуту совсем неподвижно, стоял в мгновенной, глубокой задумчивости. Потом, встрепенувшись, очнувшись от этого минутного

забытья, он резко дернул за гриву и с досадой, с болью, совсем тихо сказал:

— Пропадай, Коська... Эх!..

Второе ведро конь тоже выпил — правда, спокойнее. Хозяин выплеснул остатки ему под ноги и отошел от лошадей.

— Что ж теперь будет? — нерешительно и тревожно спросила жена.

— Что б́дет? — сказал уже спокойнее, как заговорщик, который сделал свое дело. — Разве не знаешь? В коллектив отберут. Все равно отберут. Все отберут...

В нем снова закипела злоба, и он, сдерживая себя, отступил к выходу. Отступая, процедил только сквозь зубы:

— Пусть богатеет советская власть...

Жену охватывала жалость. Жену охватывал страх. Жена всхлипнула и заныла в рукав:

— Ой, это так не пройдет... ой...

— Дурная, не плачь. Еще, может, страховку получишь, — на ходу отозвался хозяин и переступил через порог.

Ветер заметно утих.

Харьков, март 1930.

Перевел Б. Турianсв

КОСТРЫГА

— Нет!

Это было его неизменное, тяжелое, как земля, решительное, как ножом отрезанное, слово. Произнеся его, он ни разу, ни чуточки не запнулся, не смутился. Он никогда сам не добавлял еще каких-нибудь пояснений, заверений, клятв, которые могли бы вызвать сомнение. Он только слегка разводил руками, открыто глядел в глаза и убедительно говорил:

— Нет!

А в то же время по селу не переставали бродить слухи, что у Матвея Кострыги хлеб есть.

Никто только не мог указать места, где именно этот хлеб спрятан. И не всякий отваживался говорить об этом громко: одни побаивались, зная крутой и злопамятный нрав Кострыги, другие колебались, считая его человеком ловким и оборотистым, третьи, наконец, были с ним заодно. Сам он вел себя так, что обвинить его в открытой, сознательной враждебности к новым порядкам было трудно. В делах общественных он часто становился на сторону большинства,— правда, когда это не касалось особо важных вопросов. Кулаков он не защищал,— хотя еще до недавних пор был

с ними в близких отношениях. На контрак-
тацию шел, даже другим советовал. На заем тоже
подписывался, даже других подбивал. А если вы-
падало ему какое-нибудь общественное поруче-
ние, он старался выполнить его по своей части
так, чтобы все о том слышали, видели, знали. Точ-
но так же, чтобы все слышали, видели, знали,—
выступал он при случае за советскую власть.
Одного только не мог понять: некоторых меро-
приятий этой власти. И ссылался на свою дурную
голову, неспособную что следует и как следует
схватить, сообразить.

Когда, например, приехал представитель из рай-
она и часа два подробно толковал про коллек-
тивы, о целях, о преимуществах, про способ ор-
ганизации и так далее, Кострыга по окончании
поднял руку и недоумевающе спросил:

— Ну, а что оно такое — коллектив?

На взрыв смеха и удивленные возгласы многих
из присутствующих, он пожал плечами и непри-
нужденно ответил:

— А если я не понимаю? Чего ж тут зубы ска-
лить? Я хочу все до точки понимать. И хочу, чтоб
товарищ объяснил.

Нашлись такие, которые его поддержали, и то-
варищ из района снова подробно и долго пояс-
нял, уговаривая создавать коллективы. И снова,
по окончании, поднял Кострыга руку:

— Теперечки так, понятно. Но скажите, будьте
ласковы, нужен ли уже нам этот коллектив, и на
что он сдался?

У многих недоумение переходило в волнение,
волнение — в открытое возмущение. Но доклад-
чик, видно, был человек очень выдержанный:
слегка усмехнулся и, подбирая самые понятные,
самые наглядные сравнения, терпеливо доказал,

растолковал, как ребенку, что коллектив нужен, Кострыга, однако, решил сначала присмотреться, как другим придется в коллективе, и остался пока что на своем поле единоличником.

В прошлые годы, он, приbedняясь, оттягивая, кое-что сдавал, отчасти платил деньгами, выклянчивал льготы и кое-как оборачивался с хлебосдачей. В позапрошлом году, когда в сельсовете крепче наладился учет и труднее стало запутывать концы, его уже постигла крупная неприятность. Полагаясь на свое влияние, на некоторые знакомства, на кое-какое попустительство в прошлом, он контрактационных обязательств, несмотря на все напоминания и предупреждения, недовыполнил. Тогда частично затронули его добро. Это глубоко затронуло самого Кострыгу. Он надеялся, что ему простят. Он ошибся. Он должен был покориться. Но виновным себя не хотел признать.

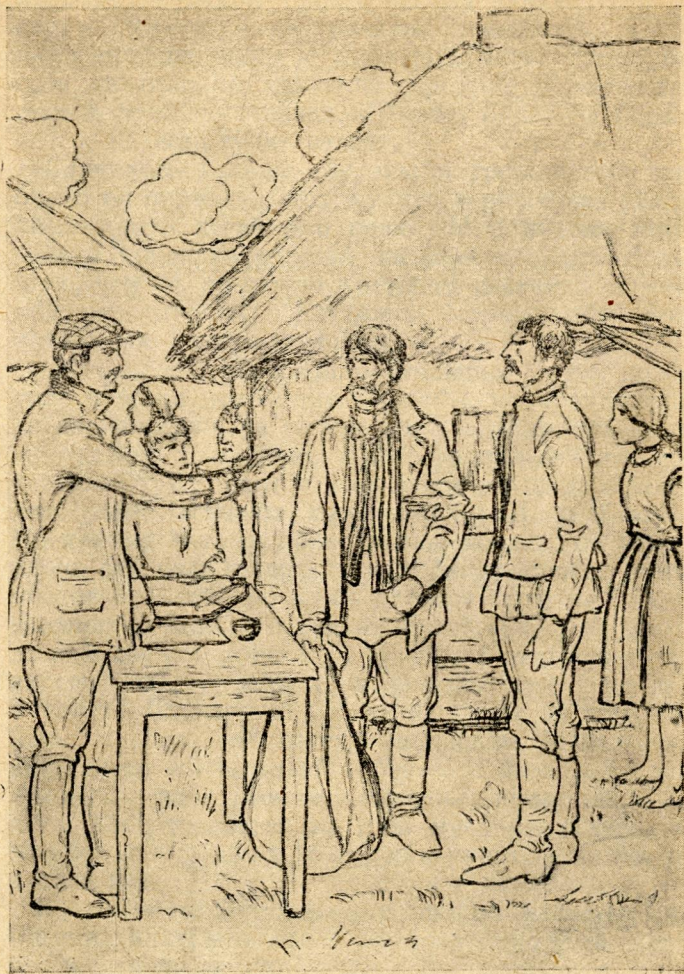
Щемящая злость уязвленного собственника, который с дедов-прадедов вращал в свое хозяйство, затуманила ему голову. Он обвинял других, жаловался, грозил прокурором. Прокурорское расследование, в конце концов, вышло не в его пользу.

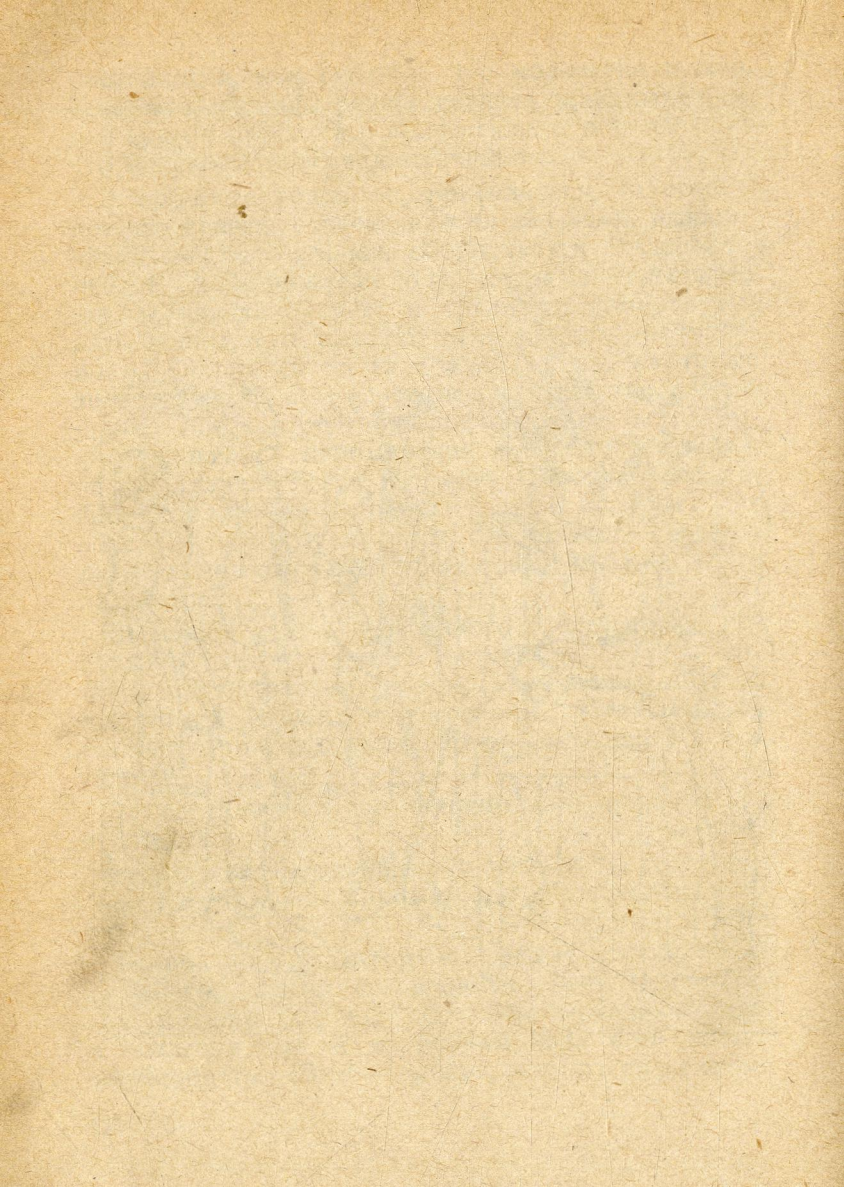
Тогда Кострыга многозначительно покачал головой, уперся.

— Матвей, иди лучше в коллектив.

— Нет. Я лучше подожду, когда вы оттуда выйдете.

Посеял он в этом году не сполна, как ни убеждали его, как ни уговаривали. Эге! Чем засеешь, когда и так, мол, последнее зернышко кинул в землю, а еще ж до новины надо всей семьей победовать. «Эге! — прикидывал он в то же время





мысленно, — какой смысл сполна обесеваться, а потом, хочешь — не хочешь, продавать, когда надо прежде всего о себе подумать? Лишь бы себе хватило. А какую-нибудь там мерку — для людей, чтоб не гавкали, — можно будет на последок и на ссыпункт отвезти».

Случилось дальше так, что и урожай себя как будто не оправдал, потому что зерна было слишком мало и легло оно редко. И комиссия, тщательно проверив урожай, назначила цифру большую, чем та, на какую Кострыга рассчитывал, какой ему хотелось. Кострыга усердно возражал, доказывал. Это не помогло.

Сначала его обессилило отчаяние. Потом охватило чувство непобедимой злобы, которая толкала на упорство, на вызов. Он — хозяин, так кому же указывать, сколько у него уродило? Он — хозяин, он тут трудится, так зачем же сюда приходят чужие, мешают, свой счет ведут, требуют?.. По какому такому праву? Он — хозяин, он имеет право сам распорядиться, он обязан прежде всего обеспечить себя по крайней мере года на два, — неизвестно ведь, что дальше будет. А ему не дают, за ним следят, допекают. Может, снова возьмутся за его добро? Может, и построек не минуют? Утеснят? Да навряд! Он же не кулак. И всем теперь известно, что засеял он меньше. И надо же ему где-то жить, хозяйствовать. И разве он один такой на селе? Другие, такие же, полагаются на него. Он полагается на них. Рука руку держит. Что будет с людьми, то и с ним будет. А на нет — и суда нет.

Кострыга окончательно отбросил расчеты комиссии. Кострыга отвез контрактационный хлеб по собственным подсчетам. Про остальное, считая, что какие-нибудь пояснения совершенно из-

лишни, он только кидал свое неизменное, короткое, как ножом отрезанное:

— Нет!

Когда за срывщиков взялись решительнее, когда среди утайщиков поползла тревога, когда уполномоченный из района созвал их в сельсовет, старательно проверяя цифры и добиваясь выполнения хлебосдачи,— Кострыга осмелился на занятую выходку. Кострыга протиснулся к столу, незаметно вынул перо из ручки и вдруг предложил:

— Вот, будьте ласковы, товарищ, возьмите, запишите.

Тот удивленно глянул на него, на присутствующих, ответил:

— Нельзя этой ручкой записать.

— Почему?

— Сами видите, пера нет.

— Ха! Вот вам и причина. А как же вам на ссыпункт везти, когда везти — чорт ма? Когда хлеба нет?

Робкий, но одобрительный смешок прокатился вокруг. Слух об этой выходке облетел немедленно все село, и Кострыга стал почти героем. К нему заметно росло внимание, и кое-кто решил последовать примеру Кострыги. А в сельсовете тоже решили особенное между всеми внимание обратить на Кострыгу.

— Ну, хорошо. Сколько у вас, по-вашему, было хлеба?

— Восемьдесят пудов.

— Сколько продали государству?

— Пятьдесят.

— А где остаток?

— Сам съел.

— Когда же ты успел съесть?

— А чего ж? Двое детей у меня, хозяйка. Вот и съел.

— И пригоршни не осталось?

— И зернышка.

— Ну, а по подсчету комиссии у тебя должно быть сто двадцать пудов, и сдать должен ты гораздо больше. Как же теперь?

Он слегка разводил узловатыми когтистыми руками, смотрел открыто в глаза и снова просто, убедительно:

— Нет!

Однако, слух, проворный и настойчивый, переходил из уст в уста: должен быть, да еще и с прошлого года должен быть...

Обыскали клуню, хату, чердак,— нет. Перетряхнули солому,— может, обмолот плохой, в колосьях застряло,— нет. Пересмотрели мякину — может, с ней смешалось,— нет, и там нет.

Кострыга со всей семьей сидел на картошке и, по своему обыкновению, вел себя так, чтобы все видели, слышали, знали, что сидит он на картошке, потому что хлеба нет. Шевельнулся даже слушок, что у него и вправду хлеба нет. Но, заглушая его, первый слух все больше разрастался, не затихал. Становилось тревожнее.

Тогда, теряя уверенность, подался пешком Кострыга в город. Там разыскал он своего приятеля, зажиточного некогда Артема Сильвестровича, которого знал как мудрую голову и который, сбегав из села, неплохо пристроился на одной из строек. Артем Сильвестрович посоветовал не поддаваться. Ведь Кострыга не из кулаков, бояться нечего. Надо ж кому-нибудь быть примером, как хозяйевать. Да и кто знает, долго ли все это протянется. Всякие слухи ходят. Ко всему

надо быть готовым. О себе, в первую голову о себе надо думать.

Кострыга поблагодарил и вернулся ободренный, еще более неуступчивый.

В то время по всему району организовались учителя, чтобы вместе с учениками «вытягивать (так было записано в протоколе) контрактантов из долга перед государством». Прибегает как-то старшенький Митрик из школы, запыхался:

— Тату, там говорят, что у вас хлеб закопан! Меня спрашивают, а я не знаю.

— Вот дела! — криво усмехнулся Кострыга. — Скажи им, что дурной их поп крестил. А хлеба у меня нет. Слышишь? Нет!

И он так цыкнул на Митрика, словно тот пришел яму с хлебом разыскивать.

К нему действительно вскоре снова пришли из сельсовета, другие. Они глядели на него подозрительно. Они говорили уверенно, что тут где-то в яме запрятан хлеб. Они требовали показать и, наконец, сами начали копать.

Кострыга мрачно похаживал, нехотя отвечал Кострыга даже ус закусил, затрясся от возмущения, когда начали копать во рву, неподалеку от стройного, им самим посаженного, любимого береста. И все-таки раскопки ничего не дали.

— Нет!

С горькой усмешкой, укоризненно покачал он головой по адресу настойчивых сельсоветчиков.

— Чтоб вам так в печенках копало! Раз Кострыга сказал, что нет — значит, нет. А вы Кострыге не верите?

Пришлось у него взамен взять картошку и описать амбар, хотя это и не могло покрыть долг. Но Кострыга был очень больно задет.

Гнев, животный, как жажда собственности, жгучий, как яд собственности, черный, как чернозем,—гнев наполнил все его существо. Он готов был, ухватив топор, смертельно замахнуться. Он готов был на злую месть, на преступление. Однако, опомнился. Переборол себя. Затаил все за шумными жалобами, горестными упреками, тяжкими проклятьями.

— За что, за что мне такую норму поставили, чтоб их прострелило? Хотят, вот хотят в могилу загнать!

Ел Кострыга со всей семьей очистки картошки и бураков, взятые в долг желуди, делая это снова так, чтобы все видели, все знали. По селу снова прокатился упорный слух, что у Кострыги хлеба вовсе нет, что Кострыгу обидели. Кой-кого уже брало сомнение. Кое-кто сочувствовал. А самые близкие, оправдывая его, еще неотступнее следовали за ним. Правда, спустя недолгое время, у одного из этих близких нашли на дворе немалую яму с пшеницей. Нашли и у другого яму, прямо в хате, под полатями. Остальные твердили, что их, как Кострыгу, тяжело оклеветали враги, что они ничего не знают, ничего не имеют, и держались они внешне непоколебимо, хотя в действительности чем дальше, тем больше овладевала ими тревога. Неотступная тревога вошла во двор, переступила порог, наполнила хату. Безжалостная тревога, как тень, целый день ходила следом и, как тень, целую ночь стояла у изголовья.

Однажды двое из них прибежали к Кострыге, сообщили, что все утайщики записаны на черную доску. Дано последнее предупреждение, близка настоящая опасность. Как быть? Может, немного бы поступиться?

— Поступайтесь, если есть чем,— холодно ответил Кострыга,— а у меня, сами знаете, ни крохи нет.

— Нет, Матвей, с нами так не годится... Разве мы вам чужие или вороги? Разве мы...

— Что? — вскипел Кострыга.— Может, скажете, что у меня хлеб есть? Может, знаете, где он? Может, пойдете, докажете? Идите, ведите, копайте! Копали уже. Тысячу пудов выкопали. Ха! Все село знает, что у меня хлеба нет. Вот желуди ем. Почернел весь. Трясусь. А за детей аж сердце разрывается, только гляну. Идите, уступайте. Только потом не кайтесь. Кто знает — кому казна, а кому и тюрьма.

И пошли от него, смущенные, уже не совсем уверенные, есть ли у него хлеб.

С виду он, и верно, совсем исхудал, даже сгорбил. Двигаться с каждым днем становилось все тяжелее. Под ложечкой все чаще появлялась резь, делались колики. И как-то один раз стало ему страшно. Не за себя. Сам он чувствовал, знал, что мог бы еще долго продержаться. А мучила жалость к детям. Он не мог видеть их истощенные, серые лица. Он не мог слышать их жалобные голоса. И сердце его скорчилось от кричащей боли, когда тот же Митрик попросил:

— Тату, говорят все, что у нас хлеб есть. Откопайте, тату, хлеба! Дайте.

— Глупенький ты! — жалобно-ласково сказал он, погладив вихрастую головку.— Где ж у меня тот хлеб? Нету, сынок, хлеба.

Сердце корчилось в борьбе. Жаркие мысли не давали покоя. Он не мог найти себе места, и ночью его то-и-дело толкало выйти из хаты, тихонько добраться до береста, тихонько откопать, взять. Даже дух захватывало. Вспоминал, как

близко от того береста копали и чуть-чуть не наткнулись. А у него еще была и другая яма, на огороде. Там опаснее, заметней. Тут, под берестом, вернее.

Но что может случиться потом? Возьмет кто-нибудь из детей, да и проболтается. Вот и готово. Или Дарья, которую он в прошлом году, после смерти жены, взял ходить за детьми и хозяйничать — эта работающая, но малость придурковатая Дарья тоже может проговориться. И готово. Кроме него, никто ничегошеньки не знает. А откроется он — откроются и другие. Тогда остальные, себя спасая, все свалят на него, на заправилу. И готово!.. Главное: с какой радости отдавать? Государство и без него обойдется. Но какой же найти выход? Как быть?

Он думал, что его, по примеру прошлых лет, потаскают немного, подергают, уверятся и понемногу успокоятся. Он надеялся, что так-сяк перебьется, переждет, пока отхлынет тревожная волна. А выходило иначе. Дело затягивалось. Надо было искать выход. И надо было торопиться. Он не находил себе места. И мысли жгли. И сердце корчило.

Однажды услышал он, что топочут под окнами чужие шаги. «Это, видно, снова искать, копать», — подумал он.

Вошли люди и сказали:

— Вы себе там как хотите, Матвей, а детей нельзя губить. Забираем ваших хлопцев на пионерскую базу. Там им будет лучше и вернее.

У Кострыги отлегло от сердца, будто тяжелый жернов сполз. Кострыга охотно согласился. Его еще раз спросили, неужто можно верить, что у него хлеб не закопан? Он слегка развел руками, посмотрел упрямо и тихо, но твердо сказал:

— Нет.

В это время поспешно вбежал в хату Митрик и еще с порога закричал:

— Тату! А на нашем огороде яму разрыли! С хлебом!

Кострыга поднялся, и стал, как каменный.

— Ты что, сдурел? — выговорил он побелевшими губами. — На огороде у меня никакой ямы, никакого хлеба нет!

Харьков, Январь 1933.

Перевел Б. Турганов.

ХЛЕБ

Светало.

Из долины мягко выплыл силуэт всадника, задержался на холме, стал неподвижно.

Кругом, насколько хватал глаз, доспевали поля. Гладь их поверхности, как гладь воды, вдруг слегка замутилась, зарябила: тронул первый утренний ветерок. Шершавые прогалины, лоснящаяся округлость склонов, синие впадины овражков, и снова разлив, снова рябь... Хлеба струились, равнина дышала; на груди ее извивалась дымная лента. Там, вдали, кто-то ехал. Колеса дребезжали. Внезапно дребезг затих. И снова слышно стало, как далекие звуки силятся пробиться сквозь гущу колосьев, которая обступала дорогу, глушила, заливала,— хлеба текли. На горизонте, в ясности восхода исчезало облачко. Один рваный его край цеплялся о край неба, тянулся и, казалось, плескался в этом щедром напоре колосьев, затопившем даль,— хлеба текли, текли.

Гнат Соколюк поправился в седле, перевел взгляд ближе. Зерно тяжелело. Стебли уже никли под тяжестью.

«Ну и хлебà! Вот хлебà! — с радостью и почти гордо подумал Гнат.— Такого урожая и не запом-

нят. Только бы управиться с ним, собрать в срок, присмотреть хорошенько, чтобы и колоска не пропало».

И он приподнялся на стремянах, зорко огляделся вокруг.

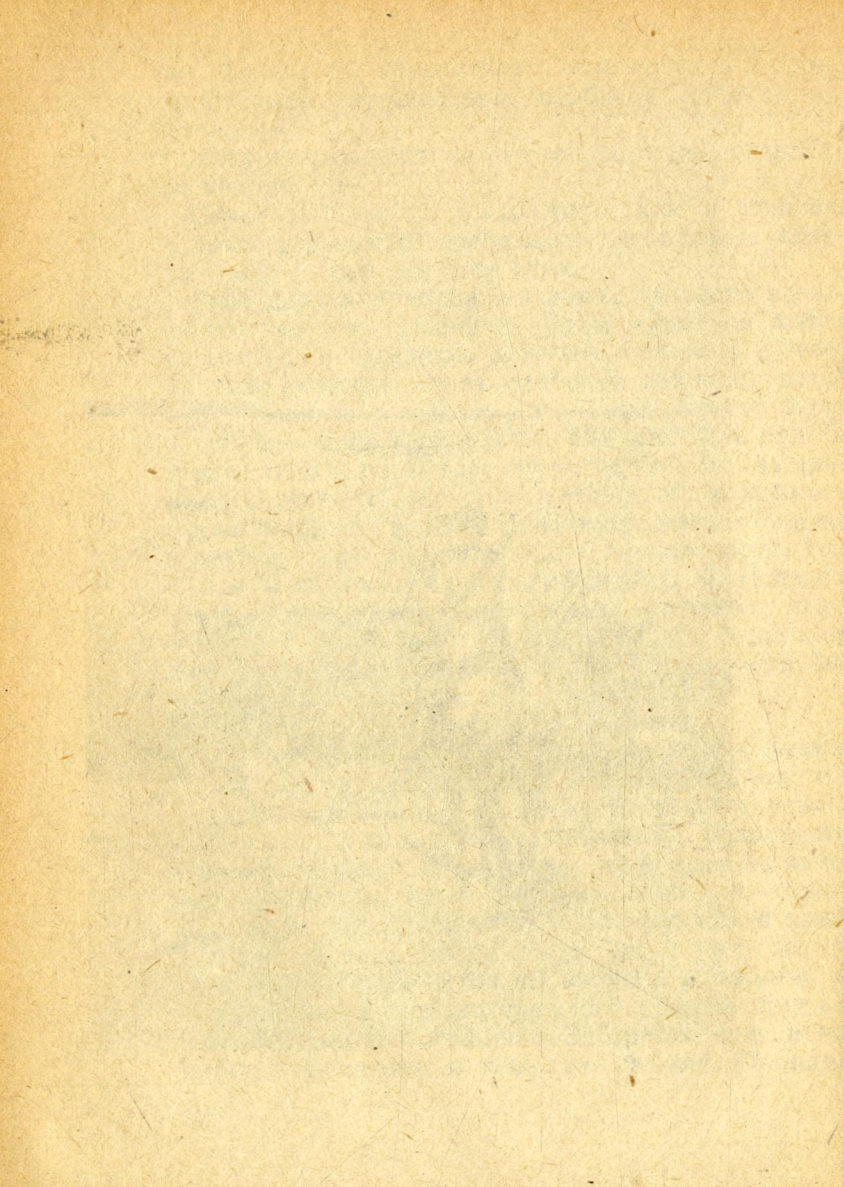
Никого. Ничего. Было тихо, как и раньше. Только отрывисто дребезжали невидимые колеса — кто-то там все еще ехал...

Гнат дернул поводья, направил буланого влево, сквозь массивы пшеницы. Этим путем он хотел спуститься в соседнюю ложбину, объехать с севера поля своего колхоза, особенно тот край, который граничил с леском. Там скорее можно было ждать покражи. На-днях там уже заметили подобные попытки: воры рассчитывали, видимо, на прикрытие леска. Покража не удалась, но и поймать воров тоже не удалось. Нужно как можно больше внимания, как можно больше бдительности. Недаром ведь поставили его объездчиком. Недаром столько прикидывали, обсуждали в колхозе, кому поручить это ответственное дело. В конце концов, остановились на нем, бывшем красноармейце и теперешнем активисте.

— Гляди же, Гнат, чтоб ни зернышка...

В ответ тогда Гнат только прищурился, усмехнулся слегка, задорно кивнул головой. Мол: пускай только кто-нибудь посмеет!.. Он все усилия приложит, чтобы врага и близко не подпустить. Стеречь он будет старательно, не только из желания оправдать такое почетное доверие, — будет оберегать старательно еще и потому, что, в конце концов, на этих полях оберегает свое же, то свое, чему отдано столько времени и заботы, на что положено столько тяжелого общего труда, — близкое, дорогое, родное. Заберется враг в это добро — заберется к нему же самому. Пропадет





колхозный колосок — пропадет его же колосок. Так ясно!

Гнат Соколюк был одним из первых, вступивших в колхоз. Примерно год спустя вступил и его старший брат, немного недоверчивый, с вывертами человек, наконец поверивший убедительным доказательствам Гната. Это подбило еще нескольких нерешительных. Артель все больше росла. Правда, приходилось временами круто, кое-кто, потеряв надежду, отпадал, однако артель не смущалась, рук не покладала, больше и больше свыкалась сообща жить и работать. Особенно трудно пришлось в прошлом году. Хлебосдачу они выполнили в срок, семфонды тоже засыпали старательно. Но им предложили встречный. Артель мобилизовалась. Выполнила. Тогда, в ошибочном увлечении, местные руководители выдвинули им второй встречный.

Но вот вышел правительственный декрет про новые нормы. Декрет приняли с величайшим интересом. Декрет внимательно изучали, всячески подсчитывали будущие трудодни и немалые полчки.

«Каждый колхозник должен стать зажиточным!» — это прилетело радостной вестью, это перекидывалось из уст в уста, это будило, подымало.

А запрещение встречных еще больше укрепило уверенность, пробудило еще большую охоту трудиться, несмотря на то, что шептуны не переставали тихонько подсмеиваться и украдкой сеять сомнение.

А когда поднялись серовато-зеленые, ладные озимые, когда заискрились ярко-зеленые, густые яровые, когда буйно заколосилось все кругом, когда затопило просторы такими щедротами, ка-

ких давно не запомнили,—подлинная радость и восторг наполнили сердца.

— Ну и хлеба! Вот хлеба!

Все мысли, все желания свелись к одному: как можно тщательнее присмотреть, как можно лучше убрать. Пусть тогда все враждебные шопоты, все видимое и невидимое неверие, вся безудержная злоба увидит, убедится и захлебнется собственным горьким отчаянием. Пусть, вопреки всем прошлым и теперешним трудностям, еще глубже укореняется эта новизна разворачивается, созревает великое дело нового, коллективного труда.

Гнат Соколюк весело поглядывал по сторонам, радуясь урожаю. У леска, в самом подозрительном месте, повреждений он не заметил. Видно, недавние неудачные попытки отбили у воров охоту заглядывать сюда. Но расхитителей можно было ждать всюду, гущина хлебов создавала для них хорошее прикрытие, и в соседних колхозах то-и-дело случалось: то колосков настригут, то прямо скосят.

От леса начинались уже поля другого колхоза. Если пересечь опушку и подняться на пригорок, оттуда гораздо удобнее осмотреть свои поля. Так Гнат и поступил. Но едва он выехал, как сбоку над впадиной овражка неясно метнулась, мелькнула тень. А может, это показалось в рассветном сумраке? Он круто остановил коня, подождал, прислушался. Тень не появлялась. Тихо. Слышался только щебет ранних птишек, да долетало время от времени то же далекое дребезжанье колес,—кто-то все ехал.

И вдруг сквозь кружево колосьев показалось ему как бы круглое пятно головы. Она едва выглянула и поспешно скрылась. Так и есть! Не те-

ряя ни минуты, Гнат кинулся вдоль леса, обогнул клин, начал приближаться.

Человек уже убегал.

— Стой! — крикнул Гнат, хватаясь за винтовку.

Человек остановился, сразу исчез, словно в землю вошел. Но Гнат, не поддаваясь на обман, не сводил глаз с того места. Через несколько шагов проплыла мимо него плешина от срезанных колосков, а за ней раскрылся темный, волнистый след в хлебе. Гнат оторопел: перед ним на мешке, доверху набитом, сидел его брат Кузьма.

С минуту они, не моргнув, смотрели друг на друга. Гнат никак не мог побороть изумления. Кузьма, сидя, казался более спокойным, хмурым.

— Что же это ты делаешь? А?

— Сижу.

— Парикмахерствуешь?

— Да... как видишь.

И с тем же внешне спокойным видом взял Кузьма стебелек в зубы. Изжеванный кончик травинки сползал на черную, кудрявую, знакомую бороду. Зеленоватые глаза смущенно и тускло поблескивали из-под бровей, — такие знакомые глаза. Такое знакомое продолговатое, изрезанное морщинами лицо, сутуловатая, в порыжелой куртке, в подвернутых штанах фигура, — родной брат! Никогда еще они не враждовали по-настоящему, хоть и часто ссорились. Кузьма тянул к старшим и был туповато-упрям. Гнат принадлежал к молодым и принципиально не уступал. Тот тянулся за большинством, лишь бы не отставать. Этот шел вперед по собственной воле, по убеждению.

И вот теперь встретились они на таком узеньком мосточке, где разминуться было почти невозможно.

— Что ж ты думаешь? А?

— Э! Брось, Гнат, не допекай,— хмуро ответил Кузьма.— Столько я работал, столько ждал, и чтоб теперь колоска не мог снять?.. Хватит всем. Вон, гляди, как уродило.

Но Гната разбирало возмущение. Никак он не мог с этим помириться, не мог понять. Какой стыд! Его брат — вор!

И кого обкрадывает? Своих обкрадывает, себя же обкрадывает!

— Э, нет, нет!.. — закачал Кузьма головой. — Это уж ты того... Я ж на наших полях и травинки не поднял. Боже борони! Я ж, как видишь, в чужом колхозе.

— В чужом? — Гнат с досады даже руками взмахнул. — Ну, как ты все еще не поймешь, что у нас нет чужого! У нас все общее, потому что все наше. Понимаешь? Вот так, как в своей хате ты о каждой веревочке заботишься, каждую веревочку подымешь, чтобы не пропала, так и тут надо. И о своем колхозном надо заботиться, и о соседском, и о государственном. Понимаешь? Наше ведь оно, наше!

— Ну, государству хватит, не бойся,— буркнул Кузьма.

— Ну, тогда ты... враг! — не удержавшись, ответил Гнат.

— Враг? — медленно и как бы удивленно поднял брови Кузьма, пристально, долго и неприятно поглядел на брата. — Враг, говоришь? Ты знаешь что, Гнат? Ты не горячись, не бойся. Твоего я не зацепил, тебя не подвел. Езжай себе, голубок, назад, а я — тоже назад. И будет все

шито-крыто. А то гомоним, услышит еще кто-нибудь...

— Пусть слышат! Пусть все знают! Хотя и брат ты мне, а злодей, вредитель! И раз пустился на такое дело — отвечай теперь.

— Вот чудак! — слегка обеспокоенный, усмехнулся Кузьма. — За что ж отвечать? За горсть колосков? Пустое! Да и пошел я сюда — знаешь, почему? Потому что ты тут стережешь. Так и сказал себе: если и влечу — так свой же, не выдаст.

— Нет, брат, ошибся ты. Я человек честный и делаю то, что мне доверили. Вставай, брат. Ты арестован.

— Тю! Сдурел или что? — снова смущенно усмехнулся Кузьма и еще глубже уселся на мешок.

— Без разговоров! Вставай, говорю. Пошли. Ну!

Дело оборачивалось всерьез. Этого Кузьма уж никак не ожидал. Охватывало великое удивление, охватывала тревога. В глазах у него вспыхнули искорки злости, но он продолжал сидеть твердо, неподвижно.

— Пойдешь? — сурово, с вызывом спросил Гнат.

Тот, не глядя, решительно мотнул головой.

— Не пойдешь? Ну, так давай мне мешок! — И Гнат направил коня на него.

— Что? Куда? Т-р-р-р!.. Что ж ты прямо конем? Сволочь ты! Хулиган! — отскочил испуганный Кузьма, яростно ругаясь.

Но пока ругался, Гнат успел подхватить мешок на седло и завернуть коня на дорогу.

Через минуту раздался окрик. Гнат задержался.

Брат подбежал, тяжело дыша, серый, с искаженным злобой лицом.

— Отдай мешок!

— Нет. Мешок я должен отдать в правление. А тогда пусть решают, как знают.

— Отдай мешок! Слышишь!

— Не отдам. Не могу.

— А ты не пугай. Я пуганный.

— Отдай, хуже будет!

— Так не отдашь?..

Гнат в ответ тронул коня. И в этот момент как бешеный кинулся Кузьма, вцепился из всей силы, рванул к себе и мешок и седока. Гнат не успел опомниться, как был уже на земле, почувствовал острую боль в ноге, понял, что рубаха его разорвана. Непобедимая злоба вскипела в нем. Но их руки сцепились, они, уже ничего не соображая, боролись, катались, стонали, сопели, осыпали друг друга угрозами. И заметил Гнат, что Кузьма все норовит переметнуть с его шеи ремень, хочет выхватить винтовку.

— Не смей! Не смей! — прохрипел он, сжался, изловчился, вывернулся, отбежал.

Кузьма однако не опомнился, тупо, озверело шел на него.

— Стой! — и Гнат выстрелил, чтобы остановить.

Тот заколебался, действительно остановился. Побледнел. Стоял, вытаращив глаза. Стоял, покачиваясь, как пьяный. Он, должно быть, не верил себе самому.

Гнату тоже не верилось, что все это только что произошло, но, овладев собой, властно командовал:

— Поворачивайся!

Кузьма машинально, как очумелый повернулся.

— Бери мешок!

Кузьма послушно поднял, вскинул мешок.

— Три шага вперед! Не бежать. Иначе — стреляю.

И так они двинулись, молчаливые, напряженные, чужие.

Навстречу на дорогу выкатилось ослепительное солнце. Брызнуло смехом. И легкий трепет пробежал по полям, — хлеба струились, равнина дышала.

Через некоторое время Кузьма оглянулся, еще раз оглянулся, остановился.

Гнат тоже остановился в отдалении, недоверчиво.

— Ты не бойся, Гнат, — пояснил Кузьма, — я не убегу. Я хочу только спросить. Вот ты говоришь, что все теперь общее, все наше, все каждому, как свое.

— Так, — настороженно кивнул Гнат.

— Правильно, Гнат! Это правильно! — подхватил, оживившись, Кузьма. — Но скажи мне вот что: если так, то неужели я у себя не имею права украсть?

— Не имеешь, потому что это не только твое.

— Вот чудеса! У себя и не могу украсть?

— Нет.

Кузьма задумался, раскрыл было рот, чтобы сказать что-то, но передумал:

— Ну, в таком разе... веди.

На повороте Гнат наклонился в седле, пристально заглянул Кузьме в глаза:

— Теперь ты понял?

— Понял.

— И если я тебя отпущу одного, пойдешь в правление? Сознаешься?

- Пойду,— твердо ответил Кузьма
— Слово?
— Слово.
— Ну, в таком разе... иди.

Харьков, Июль 1933.

Перевел Б. Турганов

ТАНК

Ночь стояла, как черная стража. Но в ее густоте, в ее молчании чувствовалось огромное напряжение. Ночь могла предать каждую минуту. И когда возникали провалы совершенной тишины, когда тишина так утончалась, будто сама начинала звучать,—казалось, ночь достигает своих самых тайных замыслов и вот-вот, не дождав-шись рассвета, бурно взорвется.

Это заставляло ловить мельчайший шорох, временами даже слышать стук собственного сердца.

Людям приказано было молчать, лишь в крайнем случае переговариваться шопотом. Люди сидели, лежали. Люди нетерпеливо ждали, чутко вслушиваясь, остро вглядываясь в осеннюю глубь, где, как черная стража, была неизвестность.

Едва заметные, замаскированные кустами, окончательно сгруппированные, в исходном положении стояли танки.

В селе справа внезапно закричал петух. Пространство дрогнуло, расколотое. Другой петух подхватил, третий, четвертый откликнулись, кидая между землей и небом свои неудержимые зовы.

И люди, словно ждали этого, зашевелились. Однообразие, неподвижность им наскучили. Осен-

ний холодок донимал. Они осторожно озирались, поеживались, узнавая ближайшие фигуры. Кто-то попробовал затопать ногами, кто-то осмелился заговорить.

— Бывает, и сердце петухом запекает,— вылезая из люка, полушопотом и многозначительно сказал один.

По особенной интонации можно было подумать, что он собирается сообщить необычную новость, что он рассчитывает на многих слушателей. Но слова, как камешки в воду, канули в ночь, и, как круги на воде, быстро растаял их шелест. Никто не ответил. Не дождавшись и видимо смущенный, он повторил:

— Да, бывает...

Рядом, на хвосте танка он заметил знакомый сгорбленный силуэт механика Поплавского, и это его вполне удовлетворило. Он даже вкусно, покрхтывая, зевнул,— скорее нарочно, чем от подлинного желания.

Поплавский сидел неподвижно. Поплавский отлично расслышал Савчука и понял, что эти слова водитель адресовал ему. Он сразу представил себе: буйство каштанов, лучистую радость, солнце на устах, и девушку — из-за нее, желанной, возникла между ними неприязнь еще там, в городе. Прощаясь с ними перед их уходом на маневры, девушка шутливо сказала всегда задумчивому Поплавскому: «Пусть ваше сердце иногда поет». Теперь Савчук, чтобы кольнуть, насмешливо приплетает петуха. Но, чорт возьми, откуда Савчук знает про эти слова? Ведь он был тогда в другой комнате. Может быть, она сама сказала? Неужели сказала?.. А может быть, она и Савчуку сказала то же?

И в Поплавском еще глубже шевельнулось не-

прияженное чувство к молодцеватому водителю. Не поворачиваясь, он внутренним зрением, интуитивно видел, как тот стоит, опершись на броневую башню, и насмешливо усмехается. Он рассчитывал, что Савчук все время будет дремать внутри танка, потому и сам не хотел забираться туда, хотя сырость донимала. Но Савчук, как нарочно, вылез. Савчук снова задирается. Савчук упорно торчит сзади. В этой полутьме, в настоженной тишине, когда все чувства так обострены, присутствие Савчука становилось особенно докучным. Он знал, что и его присутствие здесь так же неприятно для Савчука.

Случайно возникнув, их взаимное предубеждение постепенно наматывало, запутывало клубок и достигло наконец той рискованной черты, где уже кончалось собственно-личное. Переносить свои счеты на дело, переступать опасную черту они оба не отваживались. Хотя по временам не терпелось, и каждый из них не был уверен, что при первом же удобном случае не сорвется. Пойти же на уступки, объясниться, положить конец,— такая мысль хотя и появлялась временами у них обоих, но ее оттесняло множество других, более горячих, и желание быстро блекло, вяло, никло. Никто из них, молодых, задорных, не мог даже представить себе, как бы он начал мириться. Ведь сделать первый шаг — это значит сложить оружие, кончить позором. Поплавский перед маневрами хотел было, в интересах общего, более важного дела, просить, чтобы кого-нибудь из них перевели в другой взвод. Но передумал. Решил, вопреки всем возможным неприятностям и затруднениям, как можно лучше отбыть маневры, а тогда уже добиваться перевода.

Сегодня предстоял тяжелый ход, сложная бое-

вая операция. К тому же они соревновались с третьим взводом. Все это еще больше обязывало, создавало еще большую напряженность.

Савчук сзади осторожно, хрипло кашлянул. Поплавского передернуло. В кашле он заподозрил желание Савчука напомнить о себе, и Савчук вдруг показался ему смешным. Сам он, спокойно сидя, чувствовал свое преимущество, а Савчук, как ему казалось, походил на легкомысленного мальчишку. И правда: разве можно пускаться на такие вот подходы, подковыривания, достойные разве мелочной бабы, а уж никак не человека серьезного?

Критический подход самому Поплавскому понравился. Он почувствовал еще больше свое преимущество и, оттолкнувшись от этой мысли стал размышлять более трезво. Его вообще смущала и тяготила вся эта история. Ему было ясно, что в образцовой военной части подобные отношения недопустимы. Это недостойно красноармейца. Вместо того, чтобы сосредоточить всю свою волю на единственном, самом важном, на боевом задании и заботиться о товарище, как о себе самом, они от этого отвлекаются, сбиваются на враждебность. Стыдно! Они, правда, пока ничем не нарушили дисциплины, не провинились в деле. Но какой ценой это им дается, какую выдержку приходится прилагать,—это только они знают. И знают, также что пружина может соскользнуть, может случиться скандал. Позор. Вот сегодня предстоит интересный, ответственный день, а они... один сидит, как сын, втайне попрекая другого, другой держится вызывающе тайно насмехаясь. Два человека с присущими людям страстями, два взрослых человека в этой обстановке невольно напоминают подростков, за

Дорных, наивных подростков. В самом деле, чего стоят все эти их мелкие интересы, узко-личные переживания, когда группа танков сурово выстроилась, готовая к действиям, когда каждый боец должен быть таким же готовым, суровым, железным?

Впереди, в бесшумно текущем тумане, закрепился противник. До него всего два километра. Вчерашняя разведка донесла, а сегодняшняя, самая свежая, подтвердила и дополнила, что значительные его силы на этом участке еще увеличены, что занял он такие-то выгодные точки, хорошо подготовился, но, по всем наблюдениям, ожидает главного удара с запада и сюда, на юго-запад, внимания обращает меньше. Его, должно быть, успокаивает не вполне благоприятная для наступления местность. Но оказалось, что в отдельных частях луговины танки могут пройти. Простояв вчерашний день в селе на подготовительных пунктах, полностью придя в боевую готовность, танки поздно вечером выступили. Их движение удачно маскировал боевой шум, умышленно поднятый на соседних участках, и танкам удалось подползти совершенно незаметно и близко. Они действуют совместно со значительной конной группой. План не нуждается в большей ясности. Курс определен точно. Машины стоят, нацелившись. Атака внезапна.

Вторая машина второго взвода, на которой работали Савчук и Поплавский, получила задание передвинуться к мелкому кустарнику, прорезать его и пройти лугом вдоль канавы. Затем, оставив метрах в двух влево одинокое дерево, машина должна была стремительно достигнуть первого объекта, смять и погасить огневые точки.

Близился рассвет. На востоке едва-едва серело.

Только вблизи угадывались предметы, чудовищные по форме, расплывчатые. Они казалось шевелились, и это приковывало взгляд. А немного дальше все уже расплывалось, пропадало, — туман! Туман заползал под одежду, остро пронизывал. Туман скрадывал противника, у которого было тихо, как на кладбище. Но именно тумана и ждали.

Стрелка врезалась в назначенный час. Команда:
— По машинам!

Поплавский, поспешно влезая и болтая ногой, чтобы нащупать внизу опору, нечаянно толкнул Савчука.

— Осторожнее! — сдавленно откликнулся тот. — Запустил уже свои пропеллеры!

— А ты не зевай по сторонам!

Сели, как и ожидали, с тяжелым сердцем.

Танк сразу наполнился частым, гулким стуком. Забилося четвертое сердце — мотор. Знакомые, размеренные звуки сразу поглотили внимание. И это было, как последняя команда каждому. Стало четыре существа, тесно слитых. Все лишнее словно отпало, сжалось где-то глубоко на дне. Мысли и чувства переключились. Внимание и воля — на первом месте.

Почва дрогнула, поползла вбок. Почва содрогалась, корчилась, злобно отталкиваясь, но все скорее отползала назад.

Танк шел.

Савчук принял взглядом к своему узенькому прорезу, высматривая ориентиры. Поплавский, когда требовалось, старательно поворачивал башню. Командир-огневик Нестеренко сквозь верхнее очко следил за теми же ориентирами. Время от времени он поглядывал вправо, силясь распознать соседнюю машину, которая продвигалась

волизи. Но туман не выпускал ее из пухлых лап. Хороший признак! Все они прикрыты. Все они уверенно, точно идут сейчас одним боевым курсом, как одна огромная машина. И сознание этой общности, целеустремленности, неизменная уверенность в том, что все остальные товарищи делают сейчас то же, охвачены тем же стремлением; мысль о том, что конница с нетерпением ждет, как ждут и батареи, чтобы за первым этим ударом начать общую атаку; глубокое сознание того, что люди, моторы, лошади, орудия, радио, вещи и мысли, вещи и чувства соединились, как надежная взаимная порука, как подвижная, мощная, неразрывная цепь — все это особенно возбуждало, подымало, мобилизовало.

Танки наступали крадучись, заглушая свое прерывистое дыхание в клубящихся волнах тумана. Танки приближались, приближались.

За одиноким деревцом, мелькнувшим диковинным силуэтом, начинался пригорок. Его удобнее было бы взять, слегка отклонившись. Командир, давая курс, забыл предупредить. Но едва он подумал об этом, как Савчук уже все сделал сам. Савчук достаточно хорошо знал топографию, изучил карту днем, подробно все взвесил.

— Молодец! — не сдержавшись, крикнул вниз Нестеренко, хотя тот, конечно, не мог его услышать.

— Кто молодец? — удивленно переспросил Поплавский.

— Савчук молодец. Правильно ведет!

У Поплавского в глубине что-то на миг шевельнулось, защемило, но он, успокаивая себя, подумал: «Ну, что ж! Известно, Савчук водитель хороший».

С пригорка переключили передачу и — раз!

раз! — прямым, неожиданно, ураганно на объект.

Вдалеке ухнуло — танк мчался. Заухало тревожнее, ближе — танк мчался. Лихорадочно зачастили пулеметы, — танк все так же, словно с дерзким вызовом, мчал напролом. И только достаточно приблизившись, он замедлил ход, остановился, начал в упор расстреливать окоп. Из окопа бежали, кричали, безнадежно отбивались. Он грузно перевалился через окоп, взял наискосок, чтобы преградить отступление.

Подхлестнутая паникой пехота, пользуясь последним заслоном тумана, все же успевала в больших количествах перебежать дальше, на вторую линию. Танк прошелся по той стороне вдоль окопа, отсек ближайшую угрозу и взял направление на следующий объект обходом во фланг.

Вражеские батареи на этом участке на время затихли. Ясно: они теперь громили бы своих. Зато неистово наседали пулеметы, и танку было досадно, что нельзя сейчас свернуть вбок, по-свойски с ними расправиться. Твердая тактическая установка этого не разрешала. Он утешал себя надеждой, что вот-вот, завершивши хитрую спираль, своим неуклонным появлением с фланга, а потом с тыла принудит их замолчать. И действительно, достигнув следующей линии, он это сделал, парализовал.

Но дальше танк встретил значительное сопротивление. Самая бурная волна испуга успела отхлынуть, противник начал быстро перестраиваться, пускаться на разные тактические хитрости. Главное же, тут не совсем благоприятствовала неровная, пересеченная почва. И хотя танк был к этому готов, операция все же усложнялась больше, чем он предполагал.

С надрывным стоном, меняя передачи, взбирался он на пригорки — тогда три сердца чутко вслушивались в бешеный стук четвертого: все ли там в порядке? Три существа, припав глазами к щелям, начинали вдруг тревожно перекликаться, инстинктивно дергать руками, — тогда четвертое осторожно сворачивало влево, вправо, минуя неудобные места.

В одном неудобном месте танк окружили. Связки гранат ложились совсем близко. Танк завертелся, как разъяренное животное. Танк огрызался. Смертельная россыпь его пулемета настойчиво округлялась, суживалась. В эту минуту он страстно хотел быть подвижнее. Прорвавшись, он нащупывал новые гнезда. Яростно набрасывался, гасил. Свиристствовал...

Сопротивление постепенно слабело. Замелькала сумятица. Началось преследование.

Некоторое время танк еще грозно метался в разных направлениях, уничтожая остатки огня, пока не достиг намеченного рубежа.

Переждали. Убедились. Со всех сторон непрерывно гремели орудия. Кавалерия уже действовала. Все как и должно было быть.

Тогда они подтянулись к селу, к командирской машине. Только тут, впервые со вчерашнего вечера, они узнавали серых, сгорбленных металлических соседей, узнавали товарищей — и поняли, что уже совсем рассвело. Замаскировались.

Вылезли, разминаясь. Озабоченный, торопливый командир Нестеренко сразу же поспешил к командиру взвода. Поплавский, несмотря на свою худобу и неказистость, ловко, как гимнаст, выкинулся на бицепсах из башни и проворно раскрыв задний люк, чтобы охладить мотор. Поднявшись, он заметил сбоку коренастого, полного, при-

пухшего от бессонной ночи Савчука — он сдвинул кожаный шлем на затылок и старательно раскуривал папиросу. Поплавскому тоже хотелось курить. Папирос не было.

Оба чувствовали потребность что-то сказать, поделиться впечатлениями. Но между ними установился уже обычай разговаривать только на темы деловые, служебные, и ни один из них не осмеливался этот обычай нарушить.

Вверху загудело. Все глаза, сколько их тут ни было, мигом вскинулись к небу. С востока чертил дугу самолет. Приготовились. Жадно ждали. Потом кто-то кашлянул, усмехнулся. Оглянувшись, Поплавский неожиданно встретился взглядом с Савчуком. Это было коротко, но выразительно. «Свой, разведчик», — успокаивающе сказали глаза Савчука. И Савчук тут же помрачнел, буркнул, поправляясь:

— На поршни надо бы взглянуть, на пальцы... И по-моему, с поздним зажиганием что-то не совсем... того...

— Развё? А по-моему, того. И заправлялась как в аптеке, — весело ответил Поплавский, сияясь догадаться, упрек ли это по службе, или просто желание лишний раз подчеркнуть, что и он, Савчук, разбирается в машине. — А впрочем, давай проверим.

Молча проверили. Кое-что подчистили. Подмазали. Ни слова больше не проронив, Савчук отошел к кучке товарищей, оживленно обсуждавших сегодняшнюю атаку. Поплавский попросил закурить у саперов.

От околицы метнулся и исчез мотоциклист. Впереди, у перекрестка, как на экране, вздымая пыль, проскакало несколько эскадронов. Из-за церкви, огибая угол, куда-то спешил артиллерийский ди-

визисн, но, постепенно замедляя ход, застрял в боковой улице. По главной улице протарахтело несколько танкеток; их нагоняли странные, похожие на огромных зеленых жуков, бронированные форды, перегоняли легковые машины; проехала повозка с радио-мачтами, подвигались важные, точно в шапках, броневики, за ними грузовики,— часть знакомого мото-мехбатальона. Часть растеряла где-то две единицы и допытывалась у связистов, но те сосредоточенно возились со своим проводом и не могли сказать ничего определенного. Из долины по двум извилистым дорогам подтягивались базы, резервы. Их металлические части тускло поблескивали на солнце, похожие на змеиную чешую.

Подбежал командир Нестеренко.

— Ну, друзья, прорвались мы на-славу!

— Да, но вот тут, гляди, сбились. Полное село! Это мне не нравится,— задумчиво отозвался Поплавский, который кроме своей специальности механика всегда интересовался и оперативной обстановкой.

— Это чепуха! Там наверно знают, что делают,— грубовато вставил Савчук.

— Это ничего,— подтвердил Нестеренко,— сейчас наладят. А вот что, друзья: прорыв прорывом, а впереди дела посерьезнее. Смотрите!

Он положил на корпус танка планшетку. Все трое склонились над картой.

— Развивая успех, надо ускоренно перехватывать пути отступления, не давать опомниться, нажимать. Это сейчас в нужной мере и делается — вот тут, вот тут. Но противник не хочет выходить из оборонной зоны. Сейчас радио принесло самые свежие сообщения. Потеряв передовую линию, противник намерен бороться по всей глубине обо-

роны. Внимание наступающих он оттягивает на левый фланг и тем временем старается укрепиться по фронту. Авиоразведка подтвердила, что происходит спешная перегруппировка сил — вот тут, вот так. Ждут, конечно, танков, броневигов. И так в глубине, за вторым гребнем, танкам надо ожидать усиленного орудийного огня. Задание: заслонять дальнейшее развертывание наступающих частей, рассеивать внимание и огонь противника, достичь к восьми часам высоты такой-то. Курс: соседнее село, переправа через реку, снова село на холме, оттуда, к северо-западу через лесок, долина, луг, пригорок, дом лесника на опушке... Что не ясно? Какие вопросы?

Все было ясно. Поплавский попробовал добавить кое-какие свои попутные замечания. Обращался только к Нестеренко. Савчук не вполне разделял эти предположения и, критикуя, тоже обращался к Нестеренко. Нестеренко замечал их натынутость, знал уже кое-что, потому держался как можно более беспристрастно и под конец сказал:

— Ребята, бросьте дурака валять! Не годится так... Ну, мы еще с вами поговорим, но советую: бросьте.

Сложный разговор перебил невысокий белобровый, очень подвижной механик первой машины. Третий взвод предлагал ввести в договор соцсоревнования еще один пункт, о котором забыли, а именно: на лучшую связь боевого порядка. Приняли.

Савчук стоял вполоборота, бережно, любовно, как драгоценность, залепляя надорванную папироску. Поплавский украдкой взглянул на его полуоткрытый рот. И почему-то сразу вспомнилось: буйство каштанов, лучистая радость, солнце на губах... Неужели она?..

Из глубины, с самого дна снова поднялась знакомая щемящая боль и не затихла, пока не сели, не двинулись дальше.

Через реку переправились за дымовой завесой. Переправившись в образцовом порядке, дошли до села на пригорке. Тут переждали немного, уточнили объекты, приготовились, чтобы за окoliцей двинуться развернутым строем. И едва вышли за околицу, как откуда-то сбоку, или даже с тыла, внезапно, стремительно, как стая хищников, упала с неба эскадрилья противника. Лилово-зеленоватые, нестерпимо яркие разрывы бомб расцвели в воздухе. Истребители бреющим полетом спускались так низко, будто вот-вот готовы были черкнуть крыльями по земле. Густо, как саранча, неистово кружась, перегоняя друг друга, взмывая, ныряя,— они, казалось, цеплялись крыльями, и странно было, что, зацепившись, они не валятся вниз.

Часть испугнутым табуном рассыпалась во все стороны,— по овражкам, по кустам, назад в село. Надрывались зенитки. Остервенело татакали пулеметы.

Так продолжалось минуту, может быть, две... Самолеты сами повернули, улетели прочь, и тогда все заметили, что их преследует эскадрилья наступающих.

Рассыпавшаяся часть начала стягиваться. Посредники с белыми ленточками на фуражках окончательно решали участь каждого:

— Вы выведены.

— Вы убиты.

— Вас нет.

Второй танковый взвод, к счастью, уцелел. Второй танк успел вскочить в чей-то садик и укрыться под сливами.

— Я говорил! Я предвидел! — досадовал, скинув противогаз, взлохмаченный Поплавский. — Представляешь себе, товарищ командир, если бы они наскочили на то село, где все сбились? Вот каша была бы!

— Да перестань, пожалуйста, — нетерпеливо откликнулся Савчук. — Тоже... пророк!

— Не пророк, а тактик. Ни черта ты не понимаешь.

Нападение задало немало хлопот. Пришлось на ново перестраиваться, теряя время.

Задание: снять за леском чужую батарею, которая, воспользовавшись воздушной атакой, громила наших, и продвигаться далее тем же курсом.

У опушки попали в завалы, рвы. Разыскивая удобное место, второй танк отстал. Когда достиг указанной точки, батарея уже исчезла. Не было и обеих соседних машин, — они пересекли луг и ползли по противоположному склону, сигнализируя догонять, — будут ждать за гребнем.

Сокращая путь, танк двинулся напрямик. Издали луговина казалась всюду одинаковой, разве только более буйно разрослась осока. Но как раз это и надо было учесть. Танк неожиданно очутился перед скрытым, разлившимся ручьем. Предательское болото! Но поздно. Врезался. Завяз.

Сердца упали. Фугасные гранаты из семидесятишести-миллиметровки при стрельбе на ходу, в упор, наверно не поразили бы их так больно, как поразила эта необычайная неприятность.

Мотор взревел, еще раз взревел. Задний ход не удавался. Гусеницы месили болотную жижу и скользили на месте.

— Фу ты, чорт! — тревожно заерзал Нестеренко.

— Заехали,— укоризненно кинул Поплавский Савчуку.

— А ты бы не заехал? — огрызнулся тот, хватаясь за рычаги.

— Все мы заехали. Надо выбираться! — и командир выскочил из башни.

Савчук крепко ругнулся. Это уже относилось к противогазу, на который он от толчка невольно присел: гофрированная трубка отскочила от маски.

— Раз не везет, так не везет! — прохрипел он, тоже вылезая, и вдруг, срывая злобу, несколько раз ткнул сапогом в корпус танка: — А еще броня! Крепость! Завяз! Сволочь!

— А еще и соревнуемся! А еще и лучшая связь боевого порядка! — в тон ему проговорил Поплавский.

— Вот видишь... — согласился Савчук — Ну, брат, давай проворней выцарапываться!

В голосе прозвучала сердечность, какой Поплавский давненько от него не слышал. Это было приятно.

Обращаться за помощью к передним, исчезнувшим за гребнем машинам они считали преждевременным. Да и стыдно было. Надо попытаться своими силами. Скорей, скорей сюда хворосту, сучьев, твердых предметов!

Кинулись в лесок. Дорогой попалась на глаза единственная уцелевшая балка на сваях заросшего, забытого мостка. Как по команде оба дружно навалились на нее, сорвали и, подбадривая друг друга, бегом понесли. Нестеренко тем временем уже мчался из лесу с сучьями подмышкой, точно лошадь в оглоблях. За ним, тоже с сучьями, едва поспевали двое пастухов, удивленных, любопытных, готовых помочь в беде. Несчастье объеди-

нило всех. Наскоро подмостили. Дали ход. Выбрались.

За гребнем, едва догнали передних, попали в полосу огня. На правом фланге своя конная колонна развertyвалась, готовясь к атаке, а ближе к ним, из лесу напротив, по коннице и по машинам била артиллерия противника.

Приняли сигналы. Двинулись в обход, применяясь к местности. Операция продолжалась недолго: удалось незаметно наскочить, коротким ударом выбить номера.

Пехота пыталась укрыться в лесу. Ее перехватили. Немало залегло, замаскировалось на бурковом поле. Пехота защищалась упорно. Командир с орденом, потеряв последнее пулеметное гнездо, нервно хватался за кобуру и побелевшими губами силился доказать, что танк подбит. Но не доказал. Его части пришлось повернуть козырьки на затылок.

К назначенной высоте, на опушку, все прибыли с некоторым запозданием. Тут запасались горячим, сами подкреплялись, получали подробные сведения о фронтовых успехах. Подоспели газеты, и Нестеренко читал вслух. Попалось слово «дорога». Савчук, с набитым ртом, остановил его жестом, шутливо поправил:

— Не доро́га, а дорога. Говорят же: ах, как ты мне дорога!

Все засмеялись. Он сам себе подмигнул, неопределенно взглянул на Поплавского. Поплавского это не тронуло. Если и был намек, то не обидный, разговаривать же они все-таки не решались. Перегородка хотя и стала тоньше, но не исчезла. Так и сели в машину.

По новому заданию надо было, поддерживая боевую разведку, пройти за третий холм и вор-

ваться в местечко. Теперь решили усилить бдительность, порядок, быть первыми. По дороге, на ближайшем подъеме, из-за этой усиленной бдительности заспорили. Поплавский считал, что тут для них в частности надо изменить ориентиры. Это никак не могло нарушить курса взвода, но избавляло от опасности попасть в мертвое пространство. Он упрямо доказывал, что этот участок, по своим топографическим особенностям, не может быть под обстрелом. Савчук, присмотревшись к карте, поддержал. Это было впервые. Это было неожиданно и радостно. Согласился, наконец, и Нестеренко.

Тогда перед ними оказалась длинная желто-зеленая ложбина: протянутые руки, полные пригоршни солнца. Даже весело стало на сердце. И тогда при спуске Нестеренко слышалось, будто четвертое сердце детонирует. Он подал знак. Задержались внизу, чтобы проверить. Нестеренко, зная хорошо мотор, хотел кроме того и сам удостовериться.

На них сбоку повеяло приятным, сладковатым ветерком, точно из цветника. Неужели? Лица сразу застыли в молчаливой тревоге.

Газы?

Да, да! Слезоточивые газы!

Поспешно толкаясь, они бросились за своими противогазами. И вдруг Савчук растерянно опустил свою маску — надорвана трубка! У Поплавского мелькнула мгновенная мысль: водитель или механик? Кто сейчас нужнее? Он протянул Савчуку свой противогаз. Тот, удивленный, замялся. Поплавский силой ткнул ему в руки, выхватил у него испорченный и, оторвав трубку, начал дышать прямо из коробки, пока не миновали отравленной зоны.

Едва выбрались из ложбины, готовы были сгинути все трое в одно время. Все трое догадались: отравлено слезоточивыми — значит, противник тут слабее укрепился и имеет ввиду сбить их коротким контрударом. Значит, место удобно для нападения. Значит надо немедленно воспользоваться, кинуться, прорвать, смять.

Их поняли. Так и случилось. Окончательно расстроенный, ошеломленный противник откатывался безостановочно.

В местечке танк вышел из боя.

Вылезали медленно, снова разминаясь. Теперь только обратили внимание на себя, на потные, покрытые густой пылью лица. Но в глазах теплилась радость здоровой усталости и удовлетворения.

В синих осенних далях еще раз мягко ухнуло. Слева, на горизонте, звенела бронза леса.

Савчук раскрыл пачку папирос, помялся немного, поглядывая на Поплавского, потом предложил:

— Закурим, что ли?

— Даешь,— слегка усмехнувшись, решительно ответил Поплавский и поспешил вынуть спички.

Перевел Б. Турганов



ОГЛАВЛЕНИЕ

Рассказ о бегстве	3
Зяма	57
«Нечистый»	68
Из темной передней	75
Два письма	94
В берегах	107
Враг	119
Кострыга	148
Хлеб	161
Танк	173

Ответственный редактор В. Тарсис
Технический редактор Б. Новиков
Корректор М. Лукина



Иллюстрации, переплет и суперобложка
работы Н. Картер



Уполномоченный Главлита Б—39692
Заказ изд. № 196. Тираж 10000 экз.
Формат бумаги 72×110 в 1/32
3 бум. л. по 118300 зн.
Сдано в производ. 5/IV
1934 г. Подп. к печ.
10/XII 1934 года
Зак. тип. № 197
6 печатн.
лист.



Цена книги 2 руб.
Переплет 75 коп.

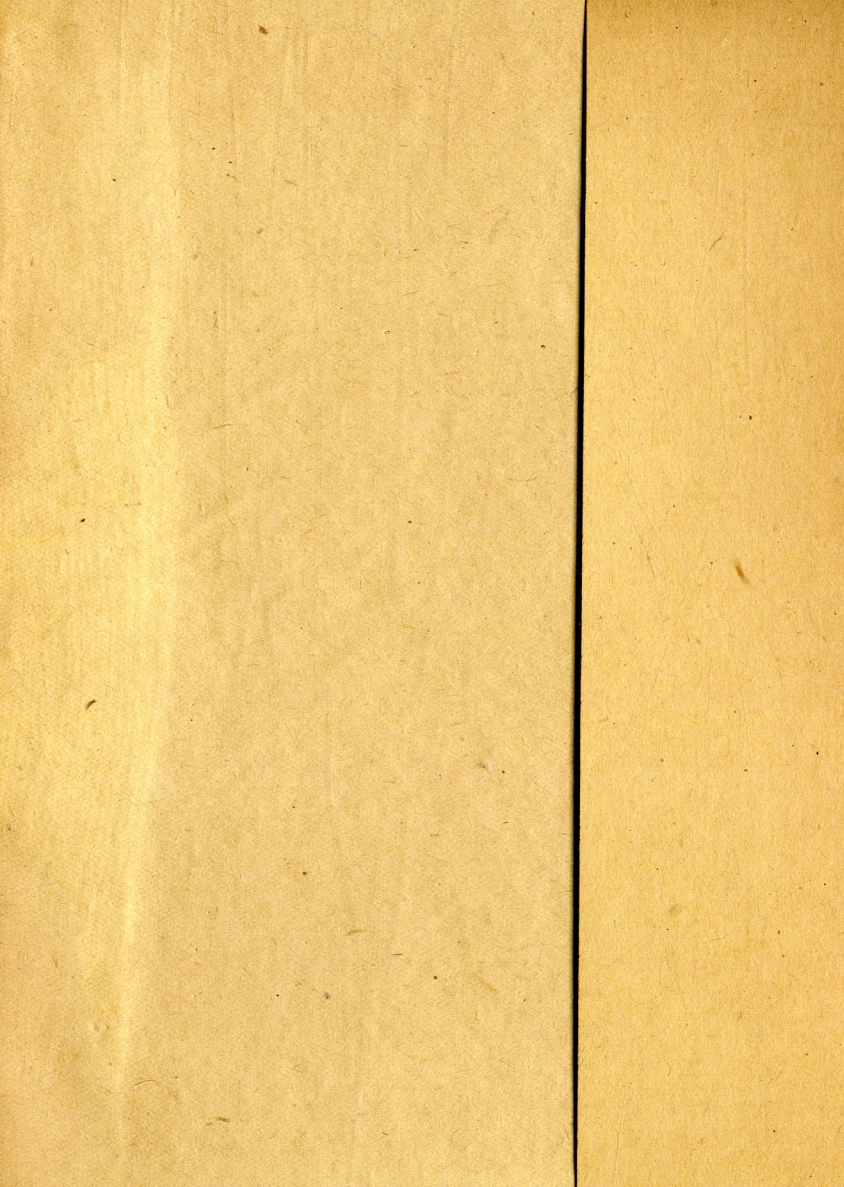


11-я тип. Мособлполиграфа
2-я Рыбинская, 3

ОТДЕЛ ЛИТЕРАТУРЫ
КАБИНЕТ ЛИТЕРАТУРЫ
А. В. ДУНАЧАНСКОГО
Пло. М.







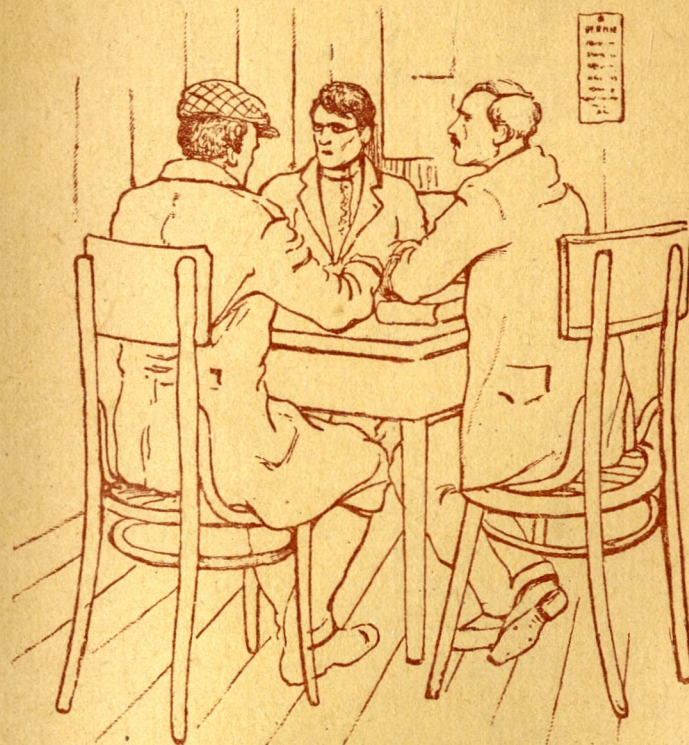
2 руб.
70 коп.

5 руб 70 коп
(1986)

РЛ 37884

А. ЛЮБЧЕНКО • РАССКАЗ О БЕГСТВЕ 37.734

А. Любченко РАССКАЗ О БЕГСТВЕ



АДРЕС ИЗДАТЕЛЬСТВА
Москва—центр, улица 25 Октября 10/2
СКЛАД ИЗДАНИЙ
Москва—центр, Большой Черкасский, 2
КОГИЗ

ГОСЛИТИЗДАТ
1934